

ЛИНА ЛИЧМАН

Никто
не уйдёт
безнаказанным.

РОЖДЁННАЯ ЗА НОВО

18+

Лина Личман

Рождённая заново, или Никто не уйдёт безнаказанным

<https://litres.ru/74448603>

SelfPub; 2026

Аннотация

Она просто хотела, чтобы виновные заплатили.

Но месть не умеет останавливаться на виновных.

Лейла возвращается к жизни, которой больше нет. Всё, что было ей дорого, осталось в прошлом, а впереди — имена тех, кто это прошлое разрушил. Один список, одно решение — и второй шанс превращается в опасную дорогу, с которой уже невозможно свернуть.

Новые правила, старые долги, люди, привыкшие решать, кому жить, а кому умереть, — и те, кто остаётся рядом, хотя безопаснее было бы уйти.

Но самое страшное — не дойти до конца. Самое страшное — понять, что каждый шаг к цели забирает что-то у тебя самой, и однажды увидеть, сколько именно.

Это история не о мести. Это история о цене, о выборе и о том, можно ли родиться заново, не потеряв себя. Потому что никто не уйдёт безнаказанным.

Содержание

Глава	4
Конец ознакомительного фрагмента.	105

Рождённая заново, или Никто не уйдёт безнаказанным

Глава

Все персонажи и события данного произведения являются художественным вымыслом. Любые совпадения с реальными людьми, организациями или событиями случайны. Действие романа происходит в 2014 году.

Лестничная клетка пахла кошками и сыростью. Я стояла в тени между лифтом и мусоропроводом и считала. Не ступеньки — секунды. По моим прикидкам, у меня их оставалось около сорока: ровно столько, сколько человек с двумя литрами пива внутри ползёт на свой этаж, останавливаясь отдышаться.

В правой руке, в перчатке, лежал нож. Складной, чёрный. А сердце шло ровно. Вот это и пугало — очень: пару лет назад я редела над раздавленной на дороге кошкой, а теперь стояла в чужом подъезде и ждала живого человека, чтобы забрать его жизнь... так спокойно, будто пришла за хлебом.

Внизу хлопнула дверь. Зашаркали тяжёлые шаги. Я за-

крыла глаза, выдохнула — и перестала быть той, кем была.

А чтобы понять, как девчонка, которая боялась дворовых собак и темноты, оказалась в чужом подъезде с ножом, придётся отмотать назад. На девять месяцев. В январь. В реанимацию.

Я возвращалась медленно. Не как из сна — из сна выныриваешь быстро, толчком, и сразу знаешь, где ты и какое сегодня число. У меня было не так. Меня вытягивали обратно по миллиметру, будто там, наверху, делали это нехотя и через силу. Сколько это тянулось — не знаю, не считала. Дни, недели — какая разница. Считать я тогда не хотела... и просыпаться тоже.

Первым ко мне вернулся не слух и не зрение, а холод в правой руке. Где-то между запястьем и локтем — точка, в которую кто-то воткнул и не вынул. Я знала это место. Я уже двадцать пять лет с ним жила, и моя рука была моей рукой. А сейчас в моей руке было что-то чужое. И от этого чужого шло куда-то по венам что-то прохладное, ровное, как зимняя вода из уличной колонки. Это была капельница.

Я не знаю, через какое время после этой первой мысли пришла вторая. Мне кажется, между ними прошёл день. Или ночь. Или что-то более длинное, чему нет названия. Вторая мысль была: я в больнице. Третья пришла быстрее: я живая.

Я заплакала. Тихо, не открывая глаз, не двигаясь — просто потекло от висков к ушам, потому что лежала я на спине. Подумала: значит, не получилось, остановили. Не знала,

благодарить за это вселенную или ненавидеть.

Открыла глаза не сразу. Сначала долго слушала. У меня плохо получалось разделять звуки — всё было одной плотной массой, которую кто-то медленно тянул мимо моих ушей. Постепенно из неё выделилось несколько разных звуков. Один писк — ровный, не торопливый, мой собственный пульс, идущий через прибор. Другой — где-то справа, женский голос. «Вторая палата, забор крови... да, хорошо... не сейчас, через двадцать минут...» Звон ключей, шаги в коридоре, чья-то кружка о стол.

Это была реанимация. Я узнала её по запаху. Уже однажды лежала здесь — после сломанной ноги, после подвала. Тогда я была беременна и не знала об этом. Теперь знала, что я одна. И это знание давило сильнее, чем боль.

Я открыла глаза. Потолок был белый. Свет лежал на нём полосой — наружный, дневной, серый. Январский, сразу поняла я. Московский январский свет ни с чем не спутаешь.

Попыталась повернуть голову вправо, и шея заныла. У кровати, в кресле для гостей, спал Жорик, привалившись щекой к кулаку. Я видела только половину его лица — и этой половины хватило, чтобы понять: он постарел. Не на год, не на два — лет на десять. Под глазом залегла глубокая морщина, которой раньше не было. Кожа серая. На щеке проступала отросшая щетина. Очки сползли на кончик носа, дужка замотана белой изолентой, как у школьника. Я смотрела на него и не могла дышать.

В горле поднялось что-то. То ли крик, то ли стон. Я открыла рот, но не смогла издать ни звука. Гортань саднило, рот пересох. Вместо крика вырвался сип. Потом кашель — глухой, сорванный, будто горло изнутри ободрали наждачной бумагой. Голоса не было. Совсем.

Жорик подскочил. У него были совершенно пустые глаза — те самые, невыспавшиеся, дежурные глаза врача в третьем часу ночи, когда уже не понимаешь, что происходит и где ты. Они скользнули по мне, по капельнице, по монитору.

Я снова открыла рот, пытаюсь сказать, что всё нормально — не получилось. Получился только слабый выдох. Его взгляд вернулся к моему лицу, остановился на глазах. Пустота в нём дрогнула. И вдруг глаза стали Жоркиными.

Он упал на колени возле кровати. Без перехода. Будто тело сделало это само, не спрашивая его. Положил голову мне на плечо. Его щека была горячей и мокрой.

— Мартышка, — сказал он мне куда-то в шею. Очень тихо. — Мартышка.

Я попробовала поднять правую руку, чтобы погладить его по затылку. Она не поднялась. Вообще. Будто больше не принадлежала мне. И я снова заплакала. Громче. Где-то глубоко под рёбрами вспыхнула боль.

Так мы и застыли. Не знаю сколько. Я слушала, как он плачет в моё плечо, и понимала: значит, случилось что-то страшное. Иначе он бы не плакал. Жорик — не из тех людей, которые льют слёзы. У него ноги, наверное, давно онемели

— он на коленях, на холодном кафеле... надо сказать ему, чтобы встал.

Друг наконец смог поднять голову, как будто слышал мои мысли. У него были красные глаза и припухшее лицо. Он сел обратно в кресло. Достал из кармана носовой платок, вытер им лоб и нос, не аккуратно, как взрослый человек, а кое-как, по-детски. Я смотрела и не торопила его. А память тем временем возвращалась. Медленно. Кусками. Я не звала её. Она приходила сама.

Тоннель. Длинный, освещённый, по бокам — лавки. На лавках — лица. Я помнила только некоторые. Мама и папа. Бабушка. Дед. Агафья. Августа. И впереди, у самого выхода — Игорь. И две девочки лет трёх, в одинаковых платьицах, с папиными глазами — такие, какими я их никогда не видела и уже не увижу. Их маленькие ладошки лежали в моих. Слева и справа. А потом — толчок. Игорь толкнул меня обратно. Я закричала. Полетела во тьму. И больше ничего не помню, кроме того, что в этом тоннеле, когда я полетела назад, у меня из рук выпали две детских ладошки. Они остались там.

Я закрыла глаза. Дышала через рот. Очень медленно.

— Жор, — позвала я.

Получилось шёпотом и не сразу.

— Я здесь, — сказал он. — Я никуда не уйду. Говорить не пытайся, трубку только вчера убрали. Голос сядет и вернётся: связки пять месяцев без работы, плюс горло тебе в августе интубацией потрепали. Это пройдёт. Просто лежи.

И ещё, ты не впервые открываешь глаза, мартышка. Из комы ты вышла через две недели. Сначала просто лежала с открытыми глазами, но нас будто не видела. Потом начала задерживать взгляд, поворачиваться на голос. Иногда казалось, что ты понимаешь, но устойчивого контакта не было. До сегодня.

Я ничего не помнила. Из всего этого времени у меня осталось одно — и я до сих пор не знаю, как это называть. Воспоминание? Сон? Бред? Я видела своих. Всех, кого больше нет. Я не знаю, была я тогда ещё по эту сторону или уже по ту.

— Январь? — Голос сел на середине.

— Двадцать третье, — подтвердил Жорик.

Двадцать третье января. Я не сразу поняла, почему дата за что-то цепляется. Потом дошло... Мой день рождения. Сегодня мне исполнялось двадцать пять. Меня вернули ровно в тот день, в который я когда-то родилась. Кто-то там, наверху, любит пошутить...

— С днём рождения, Лейла Леонардовна, — грустно улыбнулся друг. — Ты уже пять месяцев в Склифе. На сегодня с болтовнёй закончим. Тебе требуется отдых и твоим связкам тоже. Завтра отвечу на любой твой вопрос.

Спорить я не могла. Закрыла глаза и провалилась в сон, не досчитав до трёх.

Утро началось с того, что я сглотнула и не поморщилась. Горло всё ещё саднило, но острая боль за ночь притупилась. Жорик сидел на том же месте, в той же позе, будто и не ухо-

дил. Он сказал: «Спрашивай». И я спросила то единственное, что держала в себе со вчерашнего дня.

— Девочек... — Голос оказался слабым, сиплым. Дальше я не смогла: горло сжалось — теперь уже не от боли.

Жорик долго смотрел на меня, прежде чем ответить. Я знала этот взгляд, он берёт его для самых тяжёлых разговоров.

— Их не спасли, — сказал он тихо и ровно, как говорят заученное.

Мне показалось, что в живот ударили чем-то тупым. Не больно — глухо. Воздух вышел сразу весь. Я несколько секунд не могла вдохнуть. Жорик, наверное, это почувствовал — накрыл мне лоб ладонью, не как доктор, а как взрослый успокаивает ребёнка, и я закрыла глаза.

— Ты упала неудачно... покатила по лестнице вниз... Экстренное кесарево делали на двадцать четвёртой неделе. На столе у тебя останавливалось сердце — дважды, еле вернули. И малыши, они родились совсем крохотными... Веру удержали здесь четыре дня. Надю — шесть. Они лежат рядом. На Ваганьковском, у твоих. Слышишь?

Я слышала... каждое слово. Просто не могла ничего ответить.

— Лей, — позвал он. — Мартышка.

Я открыла глаза. Жорка смотрел на меня в упор.

— Ещё не сказал самое главное... Сейчас скажу, ладно?

Я кивнула. Хотя уже и так знала, что услышу дальше.

— Игоря тоже нет. И Августы. Их нашли в тот же день у тебя в квартире, на Мойке.

Я не плакала. Не было сил. И не было чего-то ещё — чего-то более важного. У меня внутри что-то очень аккуратно отключилось, как радио, которое некому больше слушать. И стало тихо.

— Лей, — позвал Жорик. — Лей, скажи что-нибудь.

Я смотрела в стену и молчала. Полоса света сползла в сторону — прошёл час, может, больше. Болело всё. Даже то, что не болело после подвала. Раньше про «душа болит» я фыркала: как может болеть то, чего на рентгене нет? Узнала. Душа — это там, где у меня жили девочки, Игорь и Августа. Теперь там пустота.

Жорик ждал, но я больше ничего не сказала. Голос кончился раньше, чем вопросы, и это, наверное, было к лучшему: мне ещё многое нужно было узнать, но я не знала, хватит ли меня сейчас на правду.

На третий день Жорик пришёл ближе к обеду — и по лицу я поняла, что он всю ночь готовился к этому разговору. Наверное, репетировал. Он всегда репетирует, когда боится.

— Кто их? — Говорить мне стало заметно легче. Хватало уже на два-три слова подряд, если между ними отдыхать.

Жорик отвёл глаза. Он знал, о ком я. И знал, что говорить надо.

— Те, кого вы с Игорем опасались. Имена есть. Не все. Часть есть. Я тебе всё расскажу, когда ты будешь готова. Не

сейчас.

— Сейчас.

Он посмотрел на монитор пульса. Я тоже. Цифра ползла вверх медленно, но уверенно. Жорик что-то прикинул в голове, потом покачал головой:

— Нет. Через пару недель. Не раньше. Не убивай меня. Я обещаю — расскажу всё, что знаю. Никуда оно не денется. К шестому февраля соберусь с духом и всё выложу. Договорились?

Я кивнула. Хотелось спросить, почему именно к шестому, но сил на это не было. У меня вообще ни на что не было сил, кроме этого одного слова — «сейчас». Это слово я смогла, потому что оно во мне теперь стояло вместо всего остального. Сейчас. Не потом. Не через жизнь, не через прощение, не через «пройдёт». Сейчас.

— Жор.

— А?

— Дай руку.

Он дал левую — я попыталась сжать его пальцы, как могла. Получилось слабо. У меня в руке ещё не было силы. Жорка это понял и сам сжал мои пальцы — крепко, чтобы я почувствовала.

— Я с тобой, — произнёс он. — Я никуда. И Влад тоже. Мы с тобой, мартышка. Ты только... ты только живи и не уходи...

Я смотрела ему в лицо и думала: уже ушла... умерла там,

в тоннеле. Сюда вернулось что-то другое. Не та я, которая была. Вроде живая, а вроде и нет. Наполовину. Но и половины хватало: плакать больше не тянуло, прощать — тем более. Тянуло выяснить, кто приложил руку, достать их по одному и убить. Самой, своими руками. Слезы и прощение — это была прежняя я; на неё они, вероятно, и рассчитывали. С нынешней простились. Я закрыла глаза и выдохнула.

Жорик не уходил. Я слышала его дыхание рядом. Хорошо. Тогда я могу полежать ещё немножко. А потом... потом начнём. Спешить мне теперь некуда. Времени у меня теперь было — хоть отбавляй. Правда, ровно на один список — тех, кто окажется причастен, и ни минутой больше. Удобно устроилась, ничего не скажешь.

Утром, открыв глаза, я увидела друга, сидящего у кровати. На этот раз выглядел он гораздо лучше, чем в предыдущие дни — свежевыбритый, в отглаженном халате, с медицинскими картами в руках. Почти прежний Жорик, если не считать усталых глаз.

— Жор, — сипло позвала я. Говорить уже получалось легче, хотя голос всё ещё оставался слабым и тихим.

— М-м? — отозвался он и поднял голову от карты, которую читал.

— Ты... — начала я, но замолчала — даже это далось тяжело. Горло опять начало саднить. Друг протянул стакан с трубочкой. Я сделала несколько глотков и продолжила:

— Ты же в Питере... Как...

— Как здесь? — переспросил он. — Самолётом.

— Смешно, — слабо выдохнула я.

— Спасибо, — невозмутимо отозвался Жорик.

Я посмотрела на него. Если бы силы позволяли, в его сторону уже что-нибудь полетело бы. Он это понял, улыбнулся и откинулся на спинку кресла.

— После того звонка сразу вылетел, — продолжил он. — Влад был на экстренной операции. Через несколько часов приехал следом.

Я кивнула. Помолчала, потом всё-таки спросила:

— Похороны?

Жорик ответил не сразу. Вдохнул, потёр пальцами висок.

— Влад занимался, — наконец произнёс он. — Всеми. Игорем тоже... Хотя по документам он уже и не Игорь.

Некоторое время никто из нас не говорил. Друг подождал немного. Потом продолжил сам:

— Когда стало понятно, что ты не умираешь прямо сейчас, начал искать варианты остаться в Москве. Перевёлся в Склиф.

Я смотрела на него несколько секунд.

— Из-за меня?

— Нет. Из-за любви к московским пробкам.

Я фыркнула. Получилось жалко. Но получилось.

— Врёшь.

— Вру.

Он пожал плечами.

— Из-за тебя.

— Зачем?

Жорик посмотрел на меня так, будто вопрос был идиотским.

— Потому что мы банда. Забыла? — хмыкнул он. — Через неделю за мной перевёлся и Влад. Спасибо, что врачи везде нужны, — иначе бы туго пришлось.

Устала очень. Друг заметил и замолчал. Минут через пять я снова посмотрела на него. Он сидел на том же месте.

— Даня?

Жорик сразу понял.

— Позвонил через пару дней после случившегося на твой телефон, а попал на меня. Прилетел на следующий день с Вишьеном, хотя понимал, что нельзя. Пробыли в Москве всего несколько часов. Тебя проведали. Потом мы с Даней долго говорили... Ты ведь, считай, заочно нас и познакомила.

Я улыбнулась. Совсем чуть-чуть. Друг заметил и тоже улыбнулся.

— Перед отъездом Даня оставил мне ключи от своей квартиры. Сказал, раз перевожусь в Москву, жить где-то надо... Ключи от его тачки мне тоже перепали. Даже в авто страховку нас с Владом внести не поленился. Так что мы эти несколько месяцев живём, как мажоры. За квартиру платить не надо, тачка крутая — одно удовольствие на ней ездить. Правда, на бензин ползарплаты уходит, но это мелочи. Второй раз Даня приезжал, чтобы вступить в наследство. К тому

времени Влад уже перевёлся и переехал в Москву, так что и он теперь знаком с Даниэлем. Кстати, пёс живёт с нами в Москве. Даня не возражал.

— Игоряша?

— Ну кто ж ещё? Других собак у тебя не было. Данька с Вивьеном прилетали ещё несколько раз в Москву. Всего на несколько часов, чтоб тебя навестить. Надеялись, что именно к их приезду ты обязательно проснёшься. Но ты решила иначе. — Жорка замолчал, как будто что-то вспоминая.

— Долго ждали...

— Главное успешно. — Он улыбнулся. — Мартышка, я пойду. Ты, конечно, мой самый главный пациент, но остальных никто не отменял.

Через день после того разговора Жорик зашёл в палату не такой, как обычно. Сел в кресло, сцепил руки в замок и долго смотрел в пол, медленно растирая большим пальцем костяшки другой руки. Потом сказал, глядя не на меня, а в окно:

— Лей. Тут такое дело. Даня мне звонит через день. Всё про тебя спрашивает. Я ему всё это время говорил одно: лежит, стабильно, ждём. А вчера он позвонил, и я не смог... Не смог опять сказать «лежит». Сказал, как есть. Что ты пришла в себя.

Я молчала. Ещё не решила, хорошо это или плохо, что кто-то снаружи теперь знает.

— Я понимаю, что ты, наверное, никому ничего не хоте-

ла... — пробормотал Жорик. — Но это Даня, Лей. Он столько месяцев сюда летал и по-человечески имеет право знать, что ты очнулась. Я решил за тебя. Хочешь ругаться — ругайся.

Я не ругалась, не видела смысла. Только спросила:

— Как он?

— Рвётся прилететь прямо завтра. — Жорик потёр лицо. — Только не выйдет у него завтра. У них там беда. Вивьен попал в аварию. Лежит в Барселоне: обе ноги переломаны, одна — в аппарате Илизарова. Даня его сейчас бросить не может, сказал — как состояние Вивьена стабилизируется, найдёт сиделку и сразу прилетит. Один и ненадолго. Через пару недель, видимо.

Две недели. Я кивнула. Эти две недели мне были даже на руку: я не знала, что скажу Дане, и не хотела, чтобы он увидел меня вот такой — десять килограммов минус, рука не слушается, говорю кое-как... я и так ему столько боли принесла... Втянула его отца в Игоревы проблемы — в итоге Данька лишился родителей... Не хочу добавлять ему беспокойства.

— Хорошо, — ответила я.

Жорик, ожидавший, что я буду злиться, выдохнул.

После пробуждения в реанимации я пролежала ещё неделю. Есть сама поначалу не могла: после трубки глотание проверяли заново, с самого начала. Чайная ложка воды. Потом кисель. Женщина-логопед сидела рядом и слушала мне гор-

ло, не булькнет ли. Пугались каждого глотка, и только через пару дней разрешили нормальную ложку. Три раза в день меня кормили. Чаще Жорик, иногда медсестра. Влад — редко: он почти всё время пропадал на операциях. Кардиохирург как-никак — супы не его профиль.

Приходила и реабилитолог — сухая женщина с холодными руками, каждый день по часу разрабатывала мне пальцы и стопы, заставляла тянуть резинку и злиться. Я ненавидела её ровно час в день — и ещё минут десять после.

Жорка проводил рядом со мной каждую свободную минуту. Мужик за тридцать с двумя врачебными специальностями кормил меня супом с ложечки, как младенца, и приговаривал:

— А вот самолётик. Открывай ротик.

Я бы его убила. Если бы могла поднять руку. Разговаривал он тоже за нас двоих. Я лежала, он трещал — про больничный кофе, про хирурга с четвёртого, который завёл овчарку и теперь ходит покусанный, про то, что Влад опять пересоллил суп.

— Ты, главное, кивай, — распорядился он, поднося очередную ложку. — Я за тебя отвечу. Ты как? Хорошо. Болит? Терпимо. Есть будешь? Будешь, я решил.

— Жор.

— Что «Жор»? Открывай рот. Я, между прочим, врач высшей категории, а кормлю тебя супом, как в яслях. Никому не рассказывай, у меня репутация.

Я открывала рот. Это был весь мой вклад в беседу.

Утро начиналось одинаково: уколы, капельницы, кровь. Потом снова кто-нибудь приходил, что-нибудь мерил, слушал, спрашивал, как я себя чувствую, и уходил. А я потихоньку училась делать то, о чём раньше даже не задумывалась. Начали с того, чтобы я могла сидеть.

Жорик поднял изголовье, помог мне сесть, обложил подушками со всех сторон и велел продержаться, сколько смогу. И вот тут случилась странная вещь. Пока он меня устранивал, я чувствовала себя большой куклой: поднял, согнул, придал нужную позу. Я ждала, что, когда он уберёт руки, тело сложится или завалится набок. Но оно осталось ровно в той позе, которую ему задали. Спина держала, шея не роняла голову. Я не сидела — сидело оно. Без меня.

— Тебя сажали, — сказал Жорик, увидев моё удивлённое лицо. — С ноября. Сначала ненадолго, потом начали ставить на ноги, держали с двух сторон. В последние недели иногда удавалось заставить ноги сделать несколько шагов по коридору. Твоё тело всё это делало. Просто тебя при этом не было.

Значит, у моего тела была своя отдельная жизнь, в которую меня не приглашали. Оно училось, работало, уставало. Эти месяцы возвращалось к жизни без меня. И надо бы его поблагодарить, а мне было противно: оно сидело, вставало, делало шаги — а моих девочек уже похоронили.

В первый раз после пробуждения меняхватило ненадолго.

Потом на двадцать минут. Потом на сорок. К концу недели я уже могла просидеть почти час. Для человека, который раньше не считал достижением даже десять километров пешком, успех был, конечно, ошеломительный.

Когда сидеть стало получаться, дошла очередь до рук. Сначала я удержала стакан обеими руками и не выронила. Потом смогла сама донести ложку до рта.

Через неделю после пробуждения меня перевели в обычную палату на втором этаже. Двухместную, но второй кровати не было — Жорик что-то сказал кому-то, и её убрали. Я лежала одна, у окна. Через стекло было видно крышу соседнего корпуса, покрытую снегом, и большую серую трубу, из которой шёл пар. Над трубой пар расходился в небо и быстро терялся. В первые два дня я могла смотреть на него часами — других развлечений тут, знаете ли, не завезли.

На третий день, разминая мне кисть, Жорик спросил, не глядя:

— Мартышка, а знаешь, почему ты сейчас уже стакан сама держишь?

Я посмотрела на него.

— Потому что мы с Владом начали тебя разминать ещё до ноября, когда сажать и ставить тебя было нельзя. Каждый день по очереди приходили: сгибали, разгибали, переворачивали. Это потом уже тебя начали сажать и ставить на ноги, а мы всё равно продолжали. Пять месяцев мяли тебя, как тесто. Иначе бы тебе сейчас пришлось сначала добивать-

ся, чтобы руки и ноги вообще сгибались. Так что давай не прибедряйся. Немного времени, немного усилий — и победишь.

Он сказал это буднично, будто ничего особенного они с Владом не сделали. А у меня в горле встал ком. Пока я лежала и понятия не имела, что вообще ещё существую, эти двое приходили, переворачивали меня, разминали руки и ноги, сгибали пальцы. День за днём. Чтобы однажды, если я всё-таки проснусь, мне было куда возвращаться.

Наверное, поэтому у меня и получалось быстрее, чем могло бы, но всё равно медленно. Унизительно медленно. Мне двадцать пять лет, а до туалета я добиралась вдоль стены, с Жориком в полушаге позади. Каждый такой поход впору было отмечать государственной наградой. «За взятие санузла», первой степени.

А потом наступило шестое февраля — день, когда Жорик обещал рассказать всё. Я лежала на подушках и ждала. За окном всё так же шёл пар из серой трубы.

Дверь наконец открылась. Первым вошёл Жорка — в чёрной куртке, с остатками снега на правом плече, у него под мышкой была тонкая серая папка. Следом Влад, с термосом и пакетом, из которого пахло домашним — мясом, чесноком, чем-то ещё. Они молча подошли к кровати. Жорик остановился у кресла у изголовья, Влад поставил термос на тумбочку, пакет — на пол и остался у стены. Так было и дома, когда нужно было сказать что-то трудное: Жорка ближе,

Влад — на расстоянии.

— Ты готова? — спросил Жорик, отряхивая плечо от снега. Он расстегнул куртку, снял её и повесил на подлокотник, после чего сел.

— Да, — уверенно ответила я.

— Хорошо. Тогда начну.

Он положил папку себе на колени. Серую бумажную с двумя завязками. Кончик одной растрепался, и кто-то аккуратно обмотал его скотчем, чтобы не расползлся дальше. Раскрыл её. Сверху лежал стандартный лист А4 — машинописный, без шапки и подписи. Жорик повернул лист ко мне. Я взяла его двумя руками — как стакан. Только стакан я держала у груди, а лист пришлось поднять перед собой. Правая сдалась почти сразу, и край бумаги пополз вниз. Друг молча перехватил его и поднёс ближе. Я прочла. Это был список из пяти имён сверху вниз.

— Это Влад собрал, — сказал он. — По кускам, за эти месяцы. У него в Москве старый друг остался, ещё с детства. Вместе росли, в одном классе учились, друг за друга держались. После выпуска не потерялись. Сейчас он в МУ-Ре. Влад к нему с нашими делами не полез, просто однажды назвал несколько фамилий. Тот ничего лишнего не спросил — понял, что если Влад просит, значит, действительно нужно. Потом передал один листок, через время другой. Так эта папка и собралась.

— А Григорий Иванович? — Я спросила раньше, чем по-

думала. Друг отца Дани, которому в прошлом году были переданы бумаги Игоря.

Влад поднял голову и тихо произнёс:

— Забудь это имя, он из ФСБ. У него в деле свои фамилии, и сейчас твоей среди них нет. Если однажды появится рядом с остальными — впишут и тебя. Для системы неважно, потерпевшая ты, свидетель или ещё кто-то. Кому ты возвращала долг и за что, останется за скобками. В деле будет один факт: ты убила. Мы к нему не подходили и не звонили. Даня нас с ним не знакомил. Ты у него нигде не проходишь — и пусть так и останется.

Я кивнула. Обидно было: есть человек, который всё знает и к нему нельзя. Я сидела и думала: значит, эти фамилии появились на бумаге не сегодня. До нас кто-то уже видел их лица, запоминал машины, давал показания. Где-то лежали старые протоколы, фотографии, записи с камер. И наверняка были другие люди, которым они сломали жизнь. Такие не делают это один раз и не останавливаются сами. Они продолжают, пока их кто-нибудь не остановит.

Но их не остановили. Всё записывали, складывали по делам, растаскивали по кабинетам — и каждый раз общая картина куда-то исчезала. Не складывалась. Или ей не давали сложиться. А люди из этой папки тем временем продолжали жить как жили.

Значит, дело было не в том, что о них никто не знал. Знали. Просто знать оказалось недостаточно. До Игоря, Авгу-

сты и моих девочек были другие. После них появятся следующие. А ещё одна бумажка — теперь уже с нашими именами — легла в очередное дело. И всё.

— Читай вслух, — сказала я.

— Лей, ты уверена?

— Читай.

Жорик переглянулся с Владом. Тот едва заметно кивнул: мол, делай, как она хочет. Друг прокашлялся, взял первую карточку и положил её мне на одеяло. Сверху снимки, под ними машинописный текст.

— Первый, — сказал Жорик. — Василий Анатольевич Звягин. Тысяча девятьсот восемьдесят первого года рождения. Питер. Прописан в Купчино, улица Купчинская, дом девять, корпус два. Бывший хоккеист районного уровня. Кличка — Череп.

Я узнала его раньше, чем Жорик договорил. Снимки анфас и в профиль явно были из какого-то старого дела. Белый, как мука, с белёсыми ресницами. Его я помнила очень хорошо — весной провела с ним в одной квартире около получаса. Не забыла ничего — ни голос, ни запах, ни то, как он держал пистолет. «По чуть-чуть», значит. Я посмотрела на Влада и ничего не сказала.

— Это он, — сказал Жорик. — Один из тех, кто пришёл на квартиру в августе. Он был не один. Соседка с четвёртого видела в окно, как во двор въехала машина, в ней были двое. Они вошли в подъезд, а через сорок минут вышли обратно и

уехали. Камера с магазина напротив взяла угол двора — на записи те же двое и та же машина.

— Второго тоже установили. Роман Пестов, кличка Пест. Питерский, ходил с Черепом не первый год. В ноябре его нашли мёртвым в машине на Парнасе. В список внесли только живых, поэтому его здесь нет.

У меня внутри что-то совершенно ровно встало на место. Без боли. Как будто в списке напротив первой строки поставили галочку. Черепа я уже знала. Хорошо.

— Второй, — продолжал Жорик. Он смотрел в листок не глядя на меня. У него это получалось так, будто читал чужой текст, и текст этот его самого утомлял. — Бесик Цуладзе. Кличка — Бесо. Грузин, родился в Кутаиси в семьдесят восьмом. Бывший боксёр. Десять лет работает на... — Жорик сделал паузу. — На третьего в этом списке. Этот Бесо координировал работу в Питере и в Москве. Через него Звягин получал заказы.

Я кивнула. Значит, был ещё кто-то посередине. Об этом я не знала. Но это понятно — крупный человек сам в Питер не поедет. Кто-то должен быть мостиком. Я запомнила: Бесо. Грузин. Кутаиси. Бокс.

— Третий, — сказал Жорик и посмотрел на меня. — Лей. Это уже большой.

— Кто.

— Дмитрий Чантурия, — сказал он. — Грузин, тысяча девятьсот восемьдесят первого. Двоюродный племянник Деда

Хасана. После убийства Хасана в январе тринадцатого распорядителем на похоронах был он — у них это значит премник. Кличка — Мирон. А теперь самое весёлое, — добавил Жорик. — По паспорту он Чантурия Дмитрий Александрович, восемьдесят первого года. А по отпечаткам — Амадян Мирон Муразович, гражданин Грузии, восемьдесят третьего. Совпадают только число и месяц. Настоящего имени не знает никто, включая тех, кто его ищет.

Жорик положил передо мной лист. Фотография была с какого-то застолья. Чантурия сидел за длинным столом, чуть подавшись вперёд. Тёмные коротко стриженные волосы, тяжёлые брови, широкое, но не грубое лицо. Ничего особенно примечательного: мужчина чуть за тридцать, тёмная рубашка, спокойный взгляд, почти доброжелательное выражение лица. Не тот тип, которого увидишь и сразу решишь перейти на другую сторону улицы. Только глаза выбивались. Он вроде бы улыбался вместе со всеми, но взгляд оставался отдельным от улыбки — внимательным, оценивающим.

— Жор. — Я ткнула пальцем в фотографию. — Знакомый.

Он сразу наклонился ближе.

— Видела его?

Я помотала головой. Потом пожала плечом. Чёрт его знает.

— Фамилию... точно.

— Чантурия?

Я кивнула. Эту фамилию я уже знала. Май. Квартира Дани. Мы сидим на ковре возле камина, вокруг бумаги из конверта Игоря. Какие-то фирмы, переводы, фамилии. Я тогда сама прочитала её вслух: Дмитрий Чантурия. Получателем фигурировала не та фирма, которую мы ожидали, а какой-то Чантурия. Мы ещё с Даней решили, что посредник. Мирон он тогда для меня не был. Просто ещё одна фамилия среди десятка других. Я снова посмотрела на фотографию. А вот лицо... тоже сидело где-то в памяти. Я его знала — или мне очень хотелось думать, что знала. За те дни у Дани перед глазами прошло столько чужих рож: фотографии, плёнки, стоп-кадры, бумаги. Он вполне мог быть среди них.

— Лицо тоже? — тихо спросил Жорик.

— Может быть. На плёнке... или фото.

Голос уже начинал садиться. Жорик услышал и больше спрашивать не стал. Я провела пальцем по краю листа. Чантурия Дмитрий. Тогда — какой-то посредник. Теперь — Мирон.

Его из всех пяти я ненавидела отдельно, тихо. Не потому что он был страшнее других — потому что он был никакой. Игоря он не ненавидел. Глянул, прикинул проценты, поставил галочку. Сказал Игорю отдавать не двадцать процентов, а восемьдесят. Бизнес, ничего личного. То, что после этой галочки не стало Игоря, Августы и двух моих девочек, для него даже не злодейство. Так, округление в нужную сторону. И вот это хуже всего: меня вычеркнули не со зла — просто

я у кого-то не сошлась в столбик.

В горле у меня стало кисло. Я закашлялась. Жорик протянул стакан с водой, и я сделала глоток.

— Кто. Зачем. И почему именно тогда.

— Потому что к нему уже подбирались, — тихо сказал Влад. Это были его первые слова за всю встречу. — Через документы, которые ты привезла к отцу Дани. ФСБ начала разматывать клубок ещё в мае. Чантурия не первый год в этом живёт. У таких чутьё звериное. Он вряд ли знал наверняка, но, похоже, почувствовал, что Игорь оставил хвосты. Что где-то лежат бумаги и рано или поздно они всплывут. Скорее всего, понял: если Игорь объявится, то рядом с тобой, поэтому и не стал ждать. Решил зачистить всё разом. Если в квартире были документы — их нашли бы. А если не было — свидетелей всё равно не осталось бы... и ребёнка тоже.

Влад остановился и тяжело вздохнул.

— Они не знали, что ты в Москве в тот день. Думали — в Питере. Шли только за Игорем и тобой. Тебя не оказалось, а Августу Аристарховну убрали за компанию. Череп её помнил ещё с весны, с того раза, когда она привела в твою квартиру полицию. Она знала его в лицо. Такого свидетеля не оставляют.

Вот теперь всё встало на свои места. Значит, не посредник — заказчик.

— Дальше, — попросила я.

Жорик отпил из стакана, который только что подавал мне, и подвинул следующий лист. И вот тут у меня всё стянуло в узел.

— Жор, это он подсел ко мне в Михайловском саду.

— Ты уверена?

— На все сто!

Я прикрыла глаза, и память услужливо перекинула меня в май прошлого года, в тот самый день, когда мы собирались уезжать на дачу. Я тогда не знала ни его имени, ни клички, вообще понятия не имела, кто он такой. Просто какой-то мутный мужик кавказской наружности, который без приглашения уселся рядом со мной на скамейку и начал выпрашивать про Игоря. Говорил спокойно, даже почти вежливо, но от этой вежливости хотелось встать и уйти куда-нибудь очень далеко. Потом как бы между прочим обронил, что Горелого уже не спросишь, и мне стало совсем не по себе. Я сидела, вцепившись руками в живот, и изо всех сил делала вид, что меня совершенно не пугает незнакомый уголовник.

А потом я увидела его ещё раз — уже на плёнке с ресторанной сходки. Там он сидел за столом, и Даня обратил на него внимание: армянин, а вокруг одни грузины.

— Он четвёртый, — произнёс Жорик. — Эдуард Сергеевич Асатрян. Четырнадцатое сентября тысяча девятьсот шестьдесят восьмой год, Тбилиси. Кличка — Осетрина Старший, он же Эдик Тбилисский. Армянин по происхождению. В системе Деда Хасана был с конца восьмидесятых.

Через него у Чантурии шла часть схемы перевозок — те, что догружались в Игорева фуры. Эдик Осетрина — один из ближайших людей Чантурии. Возможно, самый влиятельный. Он в Москве сидит.

— Где именно? — спросила я. — Адрес.

— Адресов у него несколько — три или четыре, и меняет он их каждые пару недель. Самый частый — в Кунцево. Квартира на пятом этаже, два охранника на входе. Машину водит сам, окружение — четверо. Достать сложно. Очень.

Я кивнула. Запомнила: Эдик. Кунцево. Четверо.

— Пятый, — сказал Жорик и оторвался от листа. — Это тот, кого ты сама хорошо знаешь. Сергей Эдуардович Асатрян, сын Эдика. Кличка — Осетрина Младший. Тысяча девятьсот восемьдесят шестого года рождения. В две тысячи восьмом, в двадцать один год, коронован в одном из московских ресторанов лично Дедом Хасаном. Ни одной судимости, ни одной ходки. Старые законники таких называли «апельсинами»: корона получена не за тюремный авторитет, а по протекции или за деньги. Сергея протащили по отцовской линии, и половина старых воров до сих пор не считает его своим. Это тот самый армянин со шрамом, которого ты видела при убийстве на Выхино. Это он, по версии следствия, лично инициировал июньский взрыв родителей Дани: зачищал за отцом. Сергея и Эдика следствие ведёт порознь. На Сергея есть свежие эпизоды. Через него надеются дотянуться и до отца, но на самого Эдика пока ничего твёрдого

нет. Оба сейчас на свободе.

На листе была его свежая фотография — из какого-то московского ресторана: стакан в руке, чёрные глаза, шрам через бровь и лоб. Это лицо я бы смогла узнать даже через двадцать лет.

Я считала про себя. Пятеро. Двоих, похоже, возьмут и без меня: Чантурию, к которому, по словам Влада, подбирались с мая, и Сергея — на нём свежие эпизоды. Если, конечно, в нужном кабинете снова не найдётся человек, которому выгодно, чтобы улики потерялись, а дело развалилось. Моя запись с Выхино уже однажды исчезла — тихо, без объяснений, будто её никогда и не было. Значит, могло исчезнуть и всё остальное.

До этих двоих мне всё равно пока не дотянуться, поэтому оставляю их следствию. Пока. Посмотрю, сумеет ли на этот раз довести дело до суда. Остаются трое. Эдик уйдёт: на него у них ничего нет, а деньги и билет найдутся. На Бесо тоже ничего, кроме связей. Черепа с квартирой связали, но одной камеры для суда не хватит. Значит, эти трое — Эдик, Бесо, Череп — мои.

Я молчала довольно долго. Жорик смотрел куда-то в сторону, в окно. Влад не двигался — он умел стоять так, без движения, очень долго. Когда-то я его за это ругала.

— Жор, я убью их сама... по одному.

Жорик закрыл глаза и тяжело вздохнул. Он ждал всё это время, потому что слишком хорошо знал мой характер. И

всё-таки мои слова его ударили.

— Лей, — сказал он. — Тебя не за день... тебя за час возмут. У тебя ни тренировки, ни оружия, ни связей. За спиной пять месяцев, из которых ты сама помнишь две недели — кома, потом то, что мы называем длинным словом, а по-человечески это «была и не была», и десять килограммов веса минус. Ты сейчас встанешь — у тебя голова закружится. А мы говорим про людей, у которых руки не по локоть, по плечи в крови...

— Тогда я уеду, — твёрдо проговорила я. — Наберу веса, набью руку и вернусь.

Жорик ничего не ответил, просто посмотрел на меня. У него в глазах была не паника — усталость.

— Куда, — спросил он наконец.

— У меня есть один номер — Лесин, она в Австрии и со мной никак не пересекается. Мне только туда добраться, а там я придумаю что делать дальше.

Жорка и Влад опять переглянулись. На этот раз заговорил Влад — ровно, без Жоркиных сбивок.

— Тогда так, — сказал он. — Если ты решила, то это надо сделать чисто. Тебя не выпишут ещё как минимум несколько месяцев, а по бумагам делаем сколько надо... Тебя я вывезу сам. Машиной. Граница — Ивангород. У меня там парень знакомый, который проведёт. Деньги для первого этапа будут. У нас отложено немного, если недостаточно — я найду ещё. Со своих счетов ничего не трогай! И никому, кроме нас

— никаких имён. Даже Дане. Пока по крайней мере. И вот ещё что. По бумагам ты должна остаться в коме не только чтобы тебя проще было вывезти. А чтобы тебя не доби́ли. Если до тех, кто прислал людей на Мойку, дойдёт, что баба из той квартиры очну́лась — придут. Такие свидетелей на потом не оставляют. Пока ты в коме, ты для них всё равно что мёртвая. А пока ты мёртвая — ты живая. Усвой этот парадокс и не вздумай всплыть раньше времени.

Я слушала Влада и понимала, что он описывает не меня — Игоря. Умереть по бумагам, взять чужое имя, уйти за границу, держать деньги там, где их не достанут — это всё уже было. Это придумал Игорь, шаг за шагом: похороны, клиника за финской границей. Я сейчас просто шла по его следу, по уже протоптанному. Игорь оставил мне инструкцию, как исчезнуть. Так радикально, как он, я действовать не буду, но смысл понятен.

— Согласна.

— Лей, что бы ни случилось, мы с тобой... до конца.

Я смотрела на него. У меня в горле опять стоял ком, а на глаза навернулись слёзы. И я — впервые за эту неделю — улыбнулась. Не широко, совсем чуть-чуть, уголками губ.

Перед уходом Жорик собрал с одеяла листы, выравнивал их и сложил обратно в папку. Уже взялся за завязки, но я остановила:

— Оставь, — попросила я.

Он посмотрел на меня, спорить не стал, накрыл листы

картонной обложкой и положил папку поверх одеяла.

Когда за ними закрылась дверь, в палате снова стало тихо. За окном серая труба всё так же выпускала пар. Я откинула обложку и разложила перед собой пять листов с фотографиями. Рассматривала каждое лицо по очереди. Долго. Хотела вбить их в память так, чтобы потом, ночью, закрыв глаза, увидеть любого из них в темноте.

Так прошло минут двадцать. Потом я всё собрала, закрыла папку, положила её на тумбочку рядом с термосом и подняла взгляд к потолку.

— Хорошо, — сказала я. — Значит, так и поступим.

Спустя несколько дней после этого разговора прилетел Даня. Я его не видела с прошлого лета — тогда мы с ним играли в беременную невесту и её жениха, чтобы задобрить его отца. Он был лощёный, в дорогой одежде, с лёгкой наглой улыбкой мальчика, которому всё в жизни досталось легко. Теперь же в палату вошёл другой человек. Похудевший, с серым лицом, и в глазах у него было то самое, что я последние пару недель видела у Жорика, — не горе даже, а усталость. Сирота узнаёт сироту. Мы с ним теперь были одной породы.

— Привет, — сказал он и сел на край кровати, осторожно, будто я стеклянная.

— Привет, — отозвалась я.

Даня не стал спрашивать «как ты» — дурацкий был бы вопрос, и он это понимал. Просто взял мою руку в свои и держал. Молча.

— Я останусь, — выдохнул он наконец. — Сколько надо и...

— Уезжай, — перебила я.

— Лей...

— Уезжай, Дань. Тебе тут нельзя. Те, кто убил твоих родителей, ещё не сидят. Пока они на свободе, тебе в Москве находиться нельзя. Ты для них — недобитый хвост. Один раз они уже пришли за всей семьёй разом. Не подставляйся.

Он не спорил, и сам всё это знал — потому и жил в Барселоне.

— Я в наследство вступил. Но компанией не рулю: там назначенный человек, директор, которого ещё отец поставил. Всё решаю удалённо — почта, телефон, в Москву прилетал только чтоб тебя провести...

Я смотрела на него и понимала, что он повзрослел ровно так же, как я — за одну ночь, в которую у тебя забирают всех.

А потом сказала то, что собиралась, а он слушал и не перебивал:

— Я не буду просто жить дальше. Я их достану.

Даня молчал. Я понимала, что начнёт отговаривать.

— Не надо, Лей, — сказал он тихо. — Их и так посадят. Это можно решить и без тебя.

— Нет! Хочу сама. Своими руками. Это моя причина жить...

И тут он сделал то, за что я его, кажется, окончательно и навсегда записала в свои. Он не стал меня спасать и угова-

ривать. Посмотрел на меня секунду, потом кивнул — один раз, как кивают решённому — и просто спросил:

— Имена не называй — я не хочу знать, так тебе же безопаснее. Просто скажи, что нужно от меня. Деньги? Место?

— Деньги, — ответила я.

— Деньги не вопрос, — сказал Даня. — У меня их теперь, честно говоря, больше, чем надо. И они, если по справедливости, отчасти твои. Я не стану открывать на твоё имя счёт — это след. Сделаем иначе: к твоему отъезду у Влада будет несколько конвертов — наличные, разными валютами.

— Хорошо. Спасибо.

Перед уходом Даня наклонился и поцеловал меня в лоб, как целуют сестру.

— Я не буду спрашивать, где ты и как ты, — сказал он. — Ты только жива останься. Помни, ты обещала — мы семья.

— Я постараюсь, — произнесла я тихо. Это была та правда, на какую я была способна.

Он улетел обратно тем же вечером.

В среду — двенадцатого февраля — через пару дней после визита Дани, и почти три недели после моего пробуждения, я могла сама вставать с кровати. Доходить до окна, стоять там некоторое время. Умела одеваться сама, если не считать молнии на куртке — её я ещё закрывала левой рукой неловко, правая не слушалась как следует. У меня получалось нормально есть ложкой. По коридору я доходила до двери и обратно, тихо, держась за стенку только в самом

конце.

Жорик принёс мне в этот день кофе из автомата на первом этаже. Не очень вкусный, но настоящий. У него на руке висел шарф, не на шее — он всегда так носил, заходя в помещение.

— Жор.

— А?

— Я хочу к девочкам.

Он поставил стакан с кофе на тумбочку. Посмотрел в окно. За окном было серое утро, ничего интересного в нём не было.

— Лей, февраль. Мороз. У тебя температура поднимется. Тебе ещё нельзя.

— Знаю, что нельзя. Всё равно хочу. Я скоро уеду — не могу уехать, не сказав им.

Он молчал.

— Жор. Я понимаю, что ты не хочешь меня туда везти. Не приказываю — прошу. Один раз. Только один.

Он провёл рукой по лицу.

— Лей, ну не «один раз», что ты, — сказал он тихо. — Ты сама себя слышишь? Не «один раз». Просто скажи: я хочу сейчас, в феврале. Я отвезу. В чём дело-то.

— Спасибо.

— Я тебя укутывать буду, как куль. Согласна?

— Согласна.

Он кивнул и вышел договариваться с Владом. У них на этот случай уже всё было продумано — на бумаге я по-преж-

нему лежала в реанимации, тяжёлая, без сознания, под капельницей. Жорик поменял нас местами ещё в ноябре — на случай, если за мной придут раньше, чем я открою глаза.

В тот же день, что и я, туда поступила ещё одна девушка. Примерно моего возраста, после аварии. Её мать погибла на месте, а других родственников не нашлось. Она так и не пришла в себя.

Жорик поменял нас местами: браслеты на запястьях, две истории болезни, две фамилии на дверях. Обе без сознания, обе без родни у койки, обе безымянные для персонала — сёстры на этаже менялись каждые сутки, и уже через месяц никто в отделении не помнил, кого как привезли. С тех пор Лейла Леонардовна числилась в реанимации: тяжёлая, без сознания и без динамики. А я лежала под её фамилией и понемногу выкарабкивалась. Как он провёл это по документам, я не спрашивала. Знать мне это было ни к чему, а ему — спокойнее.

Жорик меня одел. Куртка пуховая, его собственная — моей не было, она осталась на Мойке. На голову натянул шапку, которую кто-то из его коллег принёс — самую обычную, тёмно-серую. Шарф намотал до глаз. Я выглядела как полярник. Сама себя в зеркало не узнавала. Между шапкой и шарфом оставалась узкая полоска, через неё я и смотрела на коридор, а потом на улицу. Снег падал тихо, крупными хлопьями.

Влад подъехал к служебному выходу после трёх часов дня. Зимой темнеет рано, в половину четвёртого уже всё серое,

и никто никого не разглядывает. Он открыл заднюю дверь авто. Жорик помог мне сесть. У меня с непривычки болели колени. Я не сказала об этом, потому что не видела смысла. Болит — значит живая.

Влад оглядел меня с ног до головы и кивнул, а Жорка аккуратно закрыл дверь. Машина тихо тронулась с места.

Москва зимой после трёх часов — серая и какая-то выгоревшая, будто её уже выключили на ночь. Под снегом, по хорошему, должна бы казаться чище — а выходит наоборот: белым только ярче подсвечивает все её серые места. За дорогой я не следила. Смотрела в окно и считала пар изо рта у прохожих. Они шли по своим делам и понятия не имели, что в проезжающем авто едет человек, у которого внутри не хватает половины.

Жорик сидел рядом со мной сзади, Влад был за рулём, и никто не пытался завести разговор.

Через час с небольшим мы подъехали к кладбищу. Я узнала ворота сразу. Не глазами — кожей. По спине пробежал мелкий ток, словно мне разом напомнили все мои приходы сюда. Девять дней после смерти родителей. Сорок. Год. И каждый приезд из Питера. И последние визиты — трижды за прошлый, две тысячи тринадцатый, год: два в феврале и ещё один — в конце мая. Если в первый раз я приезжала чётко к родителям, то следующие два раза меня на Ваганьковское приводило любопытство. Теперь же я приехала с двумя близкими для меня людьми, которые помогли мне выбрать-

ся из машины наружу.

Шли мы медленно: Жорик с одного бока, Влад с другого — на полшага позади. Они меня не поддерживали: я сама попросила, мне было важно дойти на своих ногах. Снег скрипел под подошвами. Сапоги на мне тоже оказались чужими, чуть влажными, но удобными. Чьи именно — я даже не спросила.

Точную дорогу я уже не помнила, хотя много лет ходила сюда почти наизусть. Впрочем, ничего страшного в этом не было — в голове давно существовала отдельная карта Ваганьковского, по которой я двигалась как пчела к улью.

Аллея налево, ёлка справа, маленький памятник с отколотым углом, потом надгробие с ангелом — не тем, плачущим, который когда-то мне привиделся, а другим. У ангела отсутствовал нос. Ещё с юности я знала: увидела этот отбитый нос — пора сворачивать направо. Свернула. Ещё через пятьдесят шагов начался наш ряд. Я остановилась не от усталости — от того, что увидела.

У могилы родителей за это время появилась новая плита. Большая, общая, чёрная, отполированная как зеркало. На ней — четыре имени: сверху, по старой памяти, два — мамы и папы. Ниже — две строчки с датами. Ещё ниже, под общей рамкой, — ещё двое. Я не могла прочесть. Знала, что там написано, но не получалось... Перед глазами стояла какая-то рябь, глаза наполнились слезами, но я ещё не плакала. Повернула голову к Жорику.

— Это Влад занимался, — проговорил он тихо. — Я возился с бумагами, а он с похоронами. И памятник заказал он. Сам бы я не справился. Игоря там пока нет, — добавил он, не глядя на меня. — Его кремировали, а прах... В общем, с его бумагами тяжелее: он по документам чужой человек. Влад дожимает. К весне будет.

Я кивнула и подошла ближе. Ноги вдруг стали чужими. Мир качнулся. Через секунду я уже стояла на коленях перед плитой. Как опустилась — не помню. Наверное, Жорик успел подхватить меня под локти. Я чувствовала только холод, идущий снизу, от плиты. Ледяной камень и промёрзлая земля под ним.

Я положила правую руку — слабую, ещё непослушную — на нижнюю половину плиты. Под моей ладонью были два имени. Вера и Надежда. Две даты рождения, которые совпадали, потому что они появились на свет с разницей в шесть минут. Двадцать третье августа две тысячи тринадцатого года. И две даты смерти — с разницей в два дня. Для Веры — двадцать седьмое августа, для Нади — двадцать девятое. У них оказалось всего несколько дней.

Внутри разлилось что-то горячее и очень тихое. Не боль. Боль я уже знала — у неё были границы. У этого не было ни границ, ни названия. До этой минуты я просто знала, что была беременна двумя малышками и что их больше нет. Знала — и всё. А сейчас поняла другое. Они были. Не живот. Не беременность. Не две полоски на тесте. Две мои дочери. С

лицами, с дыханием, с маленькими ладошками. Две маленькие жизни, которые успели начаться. Они родились, а потом умерли. Это две разные вещи, которые до сих пор лежали у меня в голове одним свёртком.

Я заплакала. Это были не те беззвучные слёзы, которые шли у меня в палате — те просто текли. Эти были другими... Это был плач с хрипом, с тихим воем где-то в горле. У меня тряслись плечи. Подступала тошнота. Я рыдала, прижавшись лбом к холодному чёрному камню.

Не знаю, сколько я так простояла. Мне казалось — полжизни. В какой-то момент слёзы просто кончились. Я подняла голову и посмотрела на плиту.

Сверху — мама и папа. Они растили меня восемнадцать лет и любили — я это знаю, чувствую до сих пор. Ниже — Вера и Надежда. Они не успели меня полюбить. Не успели увидеть. И всё-таки были моими.

Я смотрела и думала: вот теперь все мои наверху. Все. Мама, папа, Вера, Надя. Бабушка, дед, Агафья, Игорь, Августа. Целая армия. Близких и любимых там уже больше, чем осталось здесь. И если они сейчас меня слышат — а я чувствовала, что слышат, потому что в том тоннеле они говорили со мной без слов, а я их слышала, — то пусть знают.

— Я к вам приду, — прошептала я очень тихо, так, чтобы ни Жорик, ни Влад не слышали. — Не сейчас. Не сегодня. Я доделаю дело, а потом приду.

Я положила вторую ладонь на плиту. Теперь обе мои руки

лежали на именах дочерей.

— Мама скоро. Подождите ещё немножко. А пока рядом с вами будет папа.

Я сказала «папа» и только в эту минуту поняла, что Игорь стал папой. До этого он у меня был Игорем. Любимым. Мужчиной моей мечты. Отцом моих будущих детей. А сейчас стал папой. Папой тех, кто ушёл напрямиком к нему.

Я постояла на коленях ещё немного. Потом поднялась — Жорик помог. На этот раз я не сопротивлялась. Без него мне уже было не встать.

— Жор, я готова.

— Вижу. Поехали.

Мы пошли назад. Я не обернулась. И, наверное, это было самое важное за весь день. Я и так знала, что осталось за спиной: четыре имени на одной плите, ёлка справа от ангела с отбитым носом, мои следы на снегу. Обернуться — значит превратить всё это в воспоминание.

Я шла по аллее в обратную сторону и думала: год назад, в такой же снег, я пришла сюда одна, нарвалась на похороны Игоря и увидела его... С этого всё началось. С этой аллеи. С этого снега. С этого кладбища.

«От судьбы не уйдёшь», — часто говорила мне бабуля и оказалась чертовски права. Не уйдёшь, не убежишь, не спрячешься. Рано или поздно судьба тебя нагонит и возьмёт своё. Но у меня сейчас забирать нечего. Если только саму жизнь... А значит, пришло моё время собирать дань с тех, кто мне

задолжал.

— Лей, ты как? — спросил Жорик уже у самой машины.

— Я хорошо, — сказала я и не соврала.

У меня болели колени, тряслись руки, резало горло. И всё-таки я чувствовала себя хорошо. Внутри стало пусто — не от потери, а от решимости. Там, где раньше лежал камень, теперь была тропинка. Узкая, ровная, ведущая туда, куда я сама её наметила.

Мы сели в машину. Жорик закутал мне колени пледом, Влад завёл двигатель. До больницы с учётом вечерних пробок было минут сорок. Я закрыла глаза — не спала, просто закрыла — и чувствовала, как сквозь прежнюю меня понемногу проступает другая. Не та, которая приехала сегодня на кладбище.

В голове уже стояли пять лиц. Каждое — с именем и адресом. И ещё одно слово — СЕЙЧАС. Я повторяла его про себя всю дорогу. Как пульс. Как вдох. Как обещание двум девочкам, которые теперь лежали под одной плитой с моими родителями. И этого было достаточно.

Спустя десять дней после поездки на кладбище меня под чужой фамилией выписали из больницы. Всё произошло быстро. Жорик подписал документы, Влад забрал мои немногочисленные пожитки и через несколько минут больничные двери закрылись за моей спиной. История болезни Лейлы Леонардовны осталась внутри, а я — нет.

До машины я дошла сама. Жорик держался рядом, будто

случайно, но так, чтобы успеть подхватить, если мои ноги подведут. Он делал вид, что просто идёт рядом. Мы оба знали, что это не так. За долгие годы нашей дружбы я научилась замечать такие мелочи. Жорка никогда не суетился и не лез помогать без спроса. Просто всё время был рядом. Именно это я ценила больше любых слов или действий.

Дорога заняла порядка получаса. Почти всё это время я молча смотрела в окно. Москва жила своей жизнью. Люди спешили по делам, сигналили машины, кто-то смеялся на остановке. Всё было как всегда. Только моё «как всегда» закончилось ещё несколько месяцев назад.

Влад заглушил двигатель. Жорик первым вышел из машины, достал мои вещи и молча подал мне руку. До подъезда мы шли медленно, не торопясь. Поднявшись на лифте на нужный этаж, друг повернул ключ в замке. Ещё до того, как дверь открылась, с той стороны послышался торопливый топот, а потом тихий скулёр. Дверь распахнулась, и в следующую секунду что-то тёплое ударило мне в ноги.

Игоряша вырос. Я нашла его год назад крошечным щенком с круглыми лапами. Теперь это был молодой пёс — длинный, нескладный, лохматый. Он вырос так сильно, что я не сразу узнала его. Игоряша прижался ко мне, как умеют только те собаки, которые сильно ждали.

Присесть на корточки я не могла — обратно бы не встала, — поэтому просто села на пол в коридоре, прямо в куртке. Пёс водил носом по моему лицу, по шее, по рукам. Прове-

рял, я ли это.

— Игоряша.

Он поднял голову, посмотрел мне в глаза. У него было такое выражение на морщинке, как у человека, который что-то очень важное прожил один, без свидетелей, и сейчас впервые этому свидетелю показывает: мол, видишь, ждал.

Я плакала собаке в шею. Влад стоял в кухне у плиты, отвернувшись. Жорик сидел на тумбочке для обуви и смотрел в стену. Никто меня не торопил.

Влад, не оборачиваясь, заговорил:

— У меня в тот день был выходной, Лей. Я к ним заглянул. Игорь с Августой Аристарховной чего-то возились, собирались. А этот, — он кивнул на пса, — путался под ногами, всем мешал. Я и говорю: «Давай выведу». Игорь ключ дал.

Он ненадолго замолчал.

— Мы с ним пошли на набережную, потом дошли до Марсова поля. Болтались часа два. Я ещё подумал тогда: может, и нам с Жоркой давно пора собаку завести. Всё отмахивались — мы же врачи, вечно заняты.

Он провёл ладонью по лицу.

— Потом мне позвонили из больницы. Экстренная операция. Надо было сначала вернуть пса, а потом ехать. Подходим к подъезду... а он как вкопанный. Стоит и воет. Не лает, а именно воет. Я тяну поводок — не идёт. Упёрся всеми четырьмя лапами. Я тогда ещё не понял, что случилось. А он... наверное, уже почувствовал.

Влад снова замолчал. Я не стала спрашивать, что он увидел, когда поднялся в квартиру — не смогла. Поняла: если бы в тот день он не забрал Игоряшу гулять, в квартире их было бы трое. Пёс выжил потому, что Влад вывел его на прогулку. Иногда жизнь держится на таких мелочах. На случайной прогулке. На телефонном звонке. На человеке, который оказался рядом.

В Питер меня привезли двадцать четвёртого февраля. Машиной, ночью, по трассе Москва — Санкт-Петербург через Тверь, Вышний Волочёк, Великий Новгород. Влад вёл сам. Жорик сидел рядом со мной сзади. Игоряша хозяйничал на переднем сиденье, время от времени поглядывая то на дорогу, то на Влада, то на нас с другом. Жорику с Владом тоже пришлось возвращаться — переводиться обратно в Питер и заново налаживать жизнь, которую они оставили ради меня.

Почти всю дорогу я спала — организм, отвыкший от таких нагрузок, быстро сдался. Один раз проснулась — мы стояли на заправке где-то под Валдаем. Я пила тёплый чай из термоса и смотрела в темноту. Шёл снег. На табло светились ярко-оранжевые цифры с ценами на бензин.

Меня замутило так резко, что я едва успела открыть дверь. Холодный воздух ударил в лицо, но легче не стало. Я сделала несколько шагов к обочине, и меня вырвало в кювет. Жорик стоял рядом: одной рукой придерживал меня за плечо, другой держал мои волосы, убранные от лица. Не говорил ничего. И я была ему за это благодарна.

Когда всё закончилось, я вытерла губы тыльной стороной ладони.

— Спасибо, — тихо произнесла я.

Он только кивнул. Мы сели в машину и поехали дальше.

К рассвету мы были уже в Питере на набережной Мойки, у дома восемнадцать. Дверь подъезда — та самая, знакомая до каждой царапины. На её ручке всё так же висели две петли. Соседи цепляли за них пакеты, пока искали ключи. Я так никогда не делала — просто ставила покупки у ног. Но эти две петли я помнила отчётливо.

Жорик открыл подъезд своим ключом. Я шла медленно, держась за перила. Он впереди, Влад — сзади, с поводком Игоряши в руке. Так у нас почему-то получалось всё последние недели — я между ними, как ребёнок, которого ведут гулять.

На площадке третьего этажа Жорик свернул вправо, к своей двери — бывшей Агафьиной. Я посмотрела налево. Моя была опечатана. Поперёк стыка между дверью и косяком тянулась узкая бумажная полоска. За полгода бумага посерела, края завернулись, синяя печать поблекла.

— Лей, — тихо позвал Жорик.

Справа щёлкнул замок. Друг открыл дверь и отступил, освобождая проход. Я оторвала взгляд от печати, обернулась и пересекла площадку. Переступила порог. Жорик вошёл за мной. Влад — последним. Закрыв дверь, он отстегнул поводок. Игоряша на секунду замер, глядя на меня, будто прове-

рял, правда ли я здесь. Потом подошёл и лёг у самых моих ног — так близко, что лапой коснулся ботинка.

За чаем о моей квартире никто не заговаривал. Она была через площадку, но её порог я не переступала полгода. Жорик с Владом это понимали и ждали, когда я сама буду готова.

Чаепитие закончилось, а моих сил хватило только на то, чтобы дойти до комнаты, которая раньше была Агафьиной. Теперь же Жорик с Владом сделали из неё гостевую. Игоряша пришёл следом и улёгся на ковре возле постели. Около часа я лежала, слушая его дыхание и приглушённые голоса из кухни, а ближе к обеду сама вышла к ним. Жорик посмотрел на меня и поинтересовался:

— Лей, ты в свою хочешь зайти?

Я кивнула. Запасные ключи от моей квартиры давно хранились у Жорки — я оставила ему комплект ещё в первый год после переезда в Питер.

На площадку мы вышли вдвоём. Влад остался в квартире с Игоряшей, за что я была ему благодарна: если бы он пошёл с нами, всё превратилось бы в осмотр места происшествия, а мне хотелось хотя бы на несколько минут вернуться домой.

— Как только следователь разрешил, я нанял людей, и они всё вымыли, а квартиру опечатали заново, — тихо произнёс Жорик.

Срывать бумажную полоску было нельзя. Для всех меня здесь не было. Жорка поддел ногтем край со стороны косяка

и стал осторожно, миллиметр за миллиметром, отделять его от дерева. Бумага тихо потрескивала, но поддавалась. Только когда край полностью отошёл, а полоска осталась целой, он вставил ключ в замок.

Я переступила порог и машинально задержала дыхание. Квартира не пахла ни кровью, ни смертью. Остался только тяжёлый, застоявшийся воздух комнат, в которых полгода никто не открывал окон. Сухое тепло батарей, старая пыль, слабый запах моющих средств, въевшийся во что-то глубже стен и пола.

Было очень тихо. Не по-домашнему. Так бывает только там, где давно никто не живёт. В такой тишине начинаешь слышать то, на что обычно не обращаешь внимания: далёкий гул отопления где-то в стенах, редкий скрип старого дома, собственное дыхание. На первый взгляд квартира выглядела почти как прежде. Только я знала, что это неправда. Жорик вошёл следом и остановился в коридоре.

Я прошла в гостиную. Казалось, время здесь просто остановилось. Журнальный столик. Шкаф с книгами. Кресло у окна. Не было только статуэтки, которую я когда-то привезла из Москвы. Наверное, её забрали вместе с другими вещами — на отпечатки, на экспертизу, или ещё зачем-то.

Я медленно обвела комнату взглядом. Что-то всё-таки изменилось. Не сразу, но глаза зацепились за угол возле дивана. Там пол был вытерт светлее остального паркета, а белый плинтус казался почти новым. Я смотрела туда несколько се-

кунд. Потом поняла. Здесь лежал Игорь. Пол отмыли. Плинтус тоже. Очень старательно.

Я подошла, придерживаясь за спинку кресла, аккуратно опустилась на корточки. Положила ладонь на плинтус. Он был тёплый. Я понимала, что это невозможно. Просто моя ладонь согрела его быстрее, чем голова успела это понять. И всё равно сидела, не убирая руки, и тихо произнесла:

— Игорь, я пришла. Пришла, чтобы тебе сказать, что ухожу... не насовсем. Ухожу, чтобы сделать то, что должна. Сделаю — и приду к тебе. Туда, где ты сейчас.

У меня уже не было слёз, просто очень тихая решимость внутри.

— Августу я тоже скоро увижу, — прошептала я. — На Серафимовском. К ней я поеду после тебя. Извини, что я не пришла на похороны. Я тогда ещё не вернулась.

Я посидела так ещё немного. Потом поднялась — опять через кресло — и обошла квартиру. Тихо, не торопясь. В каждой комнате — ровно по одной минуте. У каждой комнаты — свой запах. У спальни — Игорь, ещё чуть-чуть, между подушкой и наволочкой. У комнаты, которая должна была быть детской и не успела стать ничем — пустота. У кухни — что-то старое, печёное, давно остывшее. Там я оставалась дольше всего, стоя у окна. Потом обернулась к Жорику, который ждал у двери в коридоре.

— Закрываем.

Когда мы вышли на лестничную площадку, Жорка осто-

рожно прижал бумажную полоску с печатью обратно к двери и тщательно разгладил её пальцами. Бумага снова легла ровно, точно по старым сгибам. Если не знать, куда смотреть, невозможно было догадаться, что эту дверь только что открывали.

На Серафимовское мы поехали уже к вечеру. В феврале петербургский вечер начинается слишком рано. Кажется, только был день — и вот уже сумерки. Пока доехали до Богатырского проспекта, город совсем потемнел.

Кладбище встретило нас влажной полутьмой. Оно совсем не походило на Ваганьковское. Ниже. Теснее. Деревья стояли почти вплотную к дорожкам, и казалось, что они тоже молча смотрят на проходящих. Воздух был сырым, тяжёлым, пах талым снегом, мокрой землёй и хвоей. Снег вдоль дорожек давно перестал быть белым — серый, слежавшийся, с тонкой ледяной коркой, местами втоптаный в грязную кашу сотнями чужих ног. Даже тишина здесь была другой. Не московской, а петербургской. Влажной, будто звук тоже отсырел и стал тяжелее.

Жорик дорогу знал наизусть. Мы шли не разговаривая. Влад остался в машине у ворот — сказал, что мне «удобнее без него». Это была его манера. Он всегда находил способ не быть свидетелем, если ему казалось, что это для человека важно.

Августа ещё при жизни купила здесь семейный участок. Небольшой, за кованой оградкой. Рядом стояли два памят-

ника — её мужа и её собственный. Между ними темнела узкая полоска снега, припорошившая землю. Жорик довёл меня до калитки.

— Я подожду, — тихо сказал он.

Кивнув, я вошла одна. До памятника было всего несколько шагов. Я остановилась и долго смотрела на её имя. Потом совсем тихо произнесла:

— Тётъ Августа...

И заплакала, рассказывая ей всё подряд. Что меня не было на её похоронах. Что Игоряша вырос — она бы его сейчас не узнала, а потом обязательно сказала бы, что он всё равно ещё щенок. Что Жорик с Владом все эти месяцы не дали мне умереть. Что теперь мне нужно за границу. Я не сказала, куда еду и кого ищу. Просто пообещала, что стану сильнее и...

— Я отомщу. За вас всех...

Проведя ладонью по холодному камню, я вгляделась в фото на нём. Я не заметила, когда опустилась на колени.

— Тебя ведь там вообще не должно было быть...

Последние слова дались тяжелее остальных. Почему-то я точно знала, что Августа сейчас только махнула бы рукой.

«Лейлочка... Ну что ты опять себе напридумывала, дурочка?»

Я почти услышала её голос. С момента пробуждения меня никто так больше не называл. «Лейлочкой» меня звали только двое: Агафья и Августа. Теперь обеих не стало. И вместе с ними исчезло это слово. Я вытерла лицо ладонью.

— У меня получится. Обязательно получится...

Я поднялась и ещё раз посмотрела на её фотографию. Жорик стоял в нескольких шагах от оградки, спиной ко мне — похоже, всё это время специально смотрел в другую сторону. Услышав мои шаги, он обернулся. Лицо у него было усталым, глаза покраснели, будто он давно не спал. За последние недели я слишком хорошо научилась замечать такие вещи. Он переживал вместе со мной. Просто, как всегда, молча.

Жорик подошёл ближе.

— Лей, — тихо произнёс он. — У тебя коленки мокрые, простудишься же.

— Всё хорошо, — успокоила я его.

— Ага, лучше не бывает, — буркнул Жорик. — Поехали скорее обратно.

Я кивнула, и мы направились к выходу. Влад уже ждал нас в машине.

Мы с Жориком сели. Он закутал мне колени пледом, Влад завёл двигатель. Когда машина тронулась, я повернулась и посмотрела назад. Каменные пилоны у входа становились всё меньше. Между ними ещё несколько секунд была видна прямая аллея, уходившая в глубину. За чёрными прутьями ограды стояли голые деревья, между стволами темнели памятники. Сырой февральский сумрак понемногу стирал их очертания, пока кладбище совсем не исчезло из виду. Только тогда я отвернулась.

В груди снова стало пусто и ясно. После Ваганьковско-

го эта пустота приходила волнами: то накрывала на несколько часов, то отступала. Она не болела, не кричала — просто оставалась рядом. Как то, с чем однажды просыпаешься и понимаешь: теперь так будет всегда.

Я посмотрела на затылок Влада, видневшийся между передними сиденьями.

— Когда выезд? — спросила я.

Он ответил не сразу. Несколько секунд в машине слышался только шорох шин по мокрому асфальту.

— Послезавтра ночью, — наконец произнёс Влад, не отрывая взгляда от дороги.

— Хорошо, — тихо сказала я и закрыла глаза.

Через секунду Жорик положил ладонь поверх пледа, мне на колени. Не сжал, не погладил — просто оставил её там. Я не стала убирать.

До самой квартиры больше никто ничего не сказал. Следующие два дня оказались, наверное, самыми тихими в моей жизни. Жорик с Владом почти всё время куда-то уезжали: что-то оформляли, кому-то звонили, несколько раз возвращались очень поздно. Я не спрашивала. Всё, что не требовало моего участия, они брали на себя. Я тоже собиралась. Хотя собирать мне, по сути, было особо нечего.

На второй день Влад вернулся позже обычного. Снял куртку, садиться не стал и сказал, глядя не на меня, а куда-то в стену над плитой:

— Чантурию взяли. Сегодня, в Москве. Мой человек в

МУРе говорит — держат плотно.

Я кивнула. Мирон. Третий в списке.

Двадцать шестого февраля, около восьми вечера, мы спустились к машине. Я в последний раз посмотрела на окна дома и села сзади, по диагонали от водителя. Жорик устроился рядом с Владом, тот завёл двигатель, и мы выехали со двора. Я не обернулась. Не потому, что мне было легко уезжать, — просто я уже попрощалась.

Я думала: всё, Россия. Я тебя сегодня закрыла. Спасибо за всё хорошее, что было. За маму, папу, бабушку, деда, Агафью, Августу, Игоря и девочек. За тех, кого больше нет. И за тех, кого я сейчас оставляла здесь. Спасибо за Питер, за Мойку, за этот февраль. А теперь — пока. Я открою тебя снова, когда мне будет с чем вернуться.

В рюкзаке лежали смена белья, чёрный свитер, тёплые носки, паспорт на чужое имя и конверт с пятью тысячами евро — запас на первое время. Влад сам показал мне потайной карман под подкладкой и велел спрятать конверт туда, оставив под рукой только несколько мелких купюр — на такси, еду и всё, что могло понадобиться по дороге.

Даня, как и обещал, оставил ещё несколько конвертов с деньгами в разных валютах. Их забрал Влад: с такой наличностью через границу не ходят. Он переправит всё позже, когда я где-нибудь осяду.

Ещё в рюкзаке был сложенный вчетверо листок с четырьмя номерами: Лесиным в Вене, Даниным в Барселоне и но-

мерами Жорика и Влада в Питере. Рядом лежал дешёвый телефон, который Влад купил специально для меня, с чистой симкой на чужие данные. Пользоваться им разрешалось только для связи с Владом и Лесей. Телефон, которым я пользовалась в Питере, он забрал: от него ниточка дотянулась бы до нас за один запрос.

И ещё — то, без чего я могла уехать, но не смогла бы остаться собой. Старый ошейник Игоряши, который утром я попросила у Влада. Единственная фотография мамы и папы, которую я не хранила дома. Семь лет она пролежала у меня в кошельке, и я ни разу её оттуда не доставала. Сегодня достала и переложила в рюкзак. Туда же убрала браслет, который год назад подарила Августа, и одну Агафьину серёжку. Вторую оставила Жорику. Решила: пусть у каждого останется по половинке. Всё. Впервые в жизни у меня с собой не было ни кошелька, ни ключей, ни прав, ни сумки. Только рюкзак за спиной. И, как выяснилось, вся моя жизнь прекрасно в него поместилась.

Когда Кингисепп остался позади, Жорик обернулся ко мне через плечо.

— Лей, ты как? — спросил он, внимательно всматриваясь в моё лицо.

— Я в порядке, — ответила я, хотя даже для меня самой это прозвучало не слишком убедительно.

— Ты вчера почти не ела, — напомнил Жорик, по-прежнему не сводя с меня глаз.

— Я не могу, — тихо призналась я. — Меня тошнит.

Спорить он не стал. Просто протянул мне назад пакетик с печеньем и термос с чаем. Я положила всё на сиденье рядом. А уже через минуту открыла пакет и достала одно печенье. Сухое, овсяное. Жевала его минут пять.

Влад коротко взглянул на меня в зеркало заднего вида, снова перевёл глаза на дорогу, а через несколько секунд сказал:

— Лей. Я с тобой ещё раз пройду план. Один раз. Слушаешь?

— Слушаю.

— Доезжаем до Ивангорода. У КПП останавливаемся метров за триста, дальше с тобой пешком пойду я. Жорик остаётся в машине. Не потому что не хочет — потому что у него лицо сейчас такое... в общем, я с тобой иду до первого окошка. Там тебя встречает Серёжа, он смену принимает в одиннадцать. Это мой одноклассник, я ему сказал — «пройдёт двоюродная сестра по сложным личным обстоятельствам, не разглядывайте, не задавайте вопросов». Он понял, тебя пропускает, штамп ставит, никаких уточнений. На той стороне — эстонский КПП, обычный. Паспорт у тебя настоящий, официального бланка — просто выдан на чужое имя и с твоей фотографией. Виза тоже настоящая, шенгенская, сделана через бюро на эту фамилию. Отпечатки для шенгена пока не берут, ехать никуда и не пришлось. Всё чистое, проверять там нечего. Пропустят как обычную русскую

тётку, которая едет за покупками. По мосту через Нарову пешком, метров полтора, там пешеходный переход. Доходишь до Нарвы. На той стороне — такси, я заранее заказал, водитель тебя ждёт по имени Анна Сергеева. Везёт до железнодорожного вокзала. Поезд в Таллинн в семь утра, идёт около трёх часов. Билет у тебя в рюкзаке, под подкладкой. Из Таллинна самолёт в Вену в час дня. Поняла?

— Поняла.

Прежняя я обязательно спросила бы, что делать, если этот Серёжа не выйдет в смену. Нынешняя просто запоминала.

— Лей, если что-то пойдёт не так — что угодно — ты мне звонишь с эстонской стороны из любого таксофона, и я тебя выкупаю. У меня есть ещё двенадцать тысяч евро под рукой. Не геройствуй, поняла? Не пытайся сама.

— Не буду, — пообещала я.

Я не была уверена, что сделаю, как просит Влад, но понимала, что ему сейчас нужно это услышать, поэтому и сказала.

В Ивангород мы въехали около начала двенадцатого. Городок был маленький, серый и почти мёртвый. Из всего живого по дороге попалась только вывеска «Продукты» — без первой буквы.

Минут через десять Влад съехал с дороги и остановился на обочине у какого-то заколоченного магазина, недалеко от КПП. Он заглушил двигатель, и сразу стало тихо. Перестал гудеть мотор, затихла печка. Несколько секунд никто из нас даже не шевелился. В этой тишине я вдруг слышала, как

металлический язычок на молнии моего рюкзака тихонько постукивает о замок.

Тик.

Тик.

Тик.

Я сидела неподвижно, а он всё равно почему-то качался.

Жорик обернулся ко мне с переднего сиденья. Глаза красные, на щеках мокрые дорожки. Он даже не пытался делать вид, что всё нормально. Я посмотрела на него и поняла, что он хочет сказать.

— Жор, — умоляюще произнесла я. — Без речей. Я тебя прошу.

Он несколько секунд смотрел на меня в упор.

— Ладно. Без речей.

Я отстегнула ремень. Влад молча вышел из машины, отошёл на несколько шагов и закурил, отвернувшись к дороге. Жорик проводил его взглядом, потом открыл свою дверь и через несколько секунд сел рядом со мной. Он протянул руки и взял мои ладони. Посмотрел на них, перевернул одну, потом другую, провёл большими пальцами по моим пальцам.

— Работают, — пробормотал Жорка.

Я сглотнула.

— Твоими стараниями.

Он усмехнулся. Совсем чуть-чуть. А потом поднял мои руки и прижал к своим щекам. Щёки у него были мокры-

ми. Мне стало страшно. И пугала меня не граница, не чужой паспорт в рюкзаке, не человек на КПП, который мог посмотреть на фотографию чуть дольше, чем надо. Пугал меня друг. Только сейчас до меня по-настоящему дошло, что я могу больше его не увидеть.

Жорка сидел с закрытыми глазами, прижавшись лицом к моим ладоням.

— Я вернусь, — пообещала я.

Он не ответил и даже не открыл глаз.

— Жор, — позвала я, не выдержав.

— Я слышал, — отозвался он, по-прежнему прижимаясь к моим ладоням.

— Тогда скажи что-нибудь, — попросила я.

Только теперь друг открыл глаза.

— Ты сама просила без речей, — напомнил он.

Я всхлипнула и одновременно засмеялась.

— Вот засранец, — выдохнула я.

Жорик на секунду улыбнулся. Потом улыбка пропала.

— Мартышка, — произнёс он тихо. — Всё ведь будет хорошо, да?

Горло перестало меня слушаться. Вместо ответа я наклонилась и поцеловала его в лоб. Никогда раньше так не делала. За семь лет — ни разу.

Он тут же обнял меня. Не осторожно, не как больную, которую страшно лишний раз сжать. По-настоящему. Обхватил обеими руками и прижал к себе так сильно, что у меня

заболели рёбра. Я вцепилась обеими руками в куртку у него на спине. Так мы и сидели. Два взрослых идиота делали вид, что это не прощание. Первым отпустил Жорик. Отстранившись, он вытер мне щёку большим пальцем.

— Иди, — тихо произнёс он.

Я кивнула, открыла дверь и поставила ногу на снег.

— Лей, — окликнул он.

Я обернулась. Жорик смотрел на меня из машины.

— Останься в живых.

На этот раз я не стала обещать, что вернусь. Мы оба уже всё сказали.

— Ты тоже, — ответила я и закрыла дверь.

Жорик остался сидеть в машине. Влад бросил сигарету в снег, подошёл, и мы направились к КПП. Снег скрипел под сапогами. Мороз был небольшой — градусов десять, двенадцать, но после тёплой машины сразу защипало мокрые щёки. Под шапкой, наоборот, было жарко. Я машинально натянула её ниже на лоб. Влад шёл рядом. Не впереди, не сзади — рядом. Почти до самого окошка, а метров за десять остановился.

— Дальше я не пойду, — сказал он. — Серёжа может задёргаться. Иди сама. Не торопись. Лицо особо не показывай. Поняла?

Я кивнула. Влад снял рюкзак с плеча и протянул мне. Я уже взялась за лямку, когда он вдруг дёрнул меня к себе и обнял. Резко. Без предупреждения. Я даже руки не сразу успе-

ла поднять. Влад вообще обнимался редко. А меня сейчас держал обеими руками, крепко, по-дурацки, уткнувшись куда-то мне в шапку. Как обнимаются дети, когда сказать надо очень много, а слов всё равно нет. Я обхватила его в ответ.

— Влад...

— Молчи, — буркнул он.

И сжал ещё раз. Потом так же резко отпустил. Посмотрел на меня секунду, поправил съехавшую лямку рюкзака у меня на плече и сказал:

— Иди, Лей.

Развернулся и пошёл обратно к машине. Я осталась стоять. Смотрела ему в спину, он не обернулся. Влад никогда не оборачивался, когда уходил. Когда-то Жорик объяснил мне это: если оглянешься, можно уже не уйти. Я постояла ещё немного, подтянула рюкзак на плече и повернулась к КПП. Дальше — одна.

Я пошла к окошку и сразу поняла, что что-то не так. За стеклом сидел не Серёжа. Парень примерно моего возраста, круглолицый, в форме. Он посмотрел на меня совершенно равнодушно — так, наверное, смотрят на пятисотого человека за смену. Я протянула паспорт. Он взял его, открыл. Я стояла и смотрела, как его палец идёт по странице. Фотография. Данные. Виза. Потом он поднял глаза на меня.

Сердце билось нормально. Вот что было самым странным. Не колотилось, не ухало где-то в горле. Просто работало.

— Шапку повыше, пожалуйста.

Я подняла край шапки. Он снова посмотрел на фотографию, потом на меня и ещё раз на фотографию. Мне стало не по себе. Если он сейчас позовёт старшего — всё. До Влада я уже просто так не вернусь. И впервые за весь вечер я очень ясно поняла, где именно находилась точка, после которой нельзя передумать. Я её уже прошла.

И в этот момент рядом появился второй пограничник. Я узнала его сразу, хотя видела только один раз на фото. Серёжа. Он что-то негромко сказал парню за стеклом. Тот ответил, показал ему мой паспорт. Серёжа мельком посмотрел на страницу, потом на меня. Ни одного лишнего движения. Ни одного намёка, что мы вообще имеем какое-то отношение друг к другу.

Через несколько секунд паспорт снова оказался у меня в руках. Я взяла его. Только тогда Серёжа посмотрел мне прямо в лицо.

— Анна Сергеевна.

Я остановилась. Он выдержал короткую паузу.

— Счастливого пути.

— Спасибо, — кивнула я.

Убрав паспорт в карман куртки, я пошла дальше. За спиной осталась освещённая зона российского КПП, впереди, в темноте, уже горел другой свет — белый, ровный, эстонский. Между двумя пунктами пропуска лежал мост, а под ним темнела замёрзшая река.

Я шла медленно. После трёх часов в машине колени раз-

болелись так, что каждый шаг приходилось сначала примерять. С моста почти весь снег сдуло ветром, под подошвами остался тонкий лёд. Я придерживалась за перила — не крепко, просто чтобы знать, что есть за что схватиться, если ноги опять решат уйти в отпуск.

Через несколько шагов я вдруг сообразила, что иду одна. Никто не держится рядом. Никто не идёт впереди. Никто не боится сзади. Жорик остался в машине, Влад — у российского КПП, а я шла сама. Странное достижение для двадцатипятилетней тётки. Ещё пару недель назад за самостоятельный поход до туалета мне можно было выдавать медаль. Теперь вот государственную границу перехожу. Повышение. Я бы даже порадовалась, если бы колени так не болели.

У окошка КПП сидел парень, моих лет или чуть постарше, с очень ровной короткой бородкой. Он посмотрел на меня спокойно, без особого интереса — так смотрят на человека, который заведомо ничем не отличается от сотен других. Я протянула ему паспорт. Он открыл его, проверил визу, посмотрел на фотографию, потом на меня.

— Цель поездки? — спросил он по-русски с лёгким акцентом, ещё раз переводя взгляд с фотографии на моё лицо.

— Туризм, — ответила я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно.

— Куда направляетесь? — продолжил он, не отрываясь от паспорта.

— В Таллинн. Потом в Вену.

— Сколько денег у вас при себе?

— Пять тысяч евро, — произнесла я.

Он едва заметно кивнул, ещё раз сверил моё лицо с фотографией и поставил штамп.

— Проходите, — сказал пограничник, возвращая мне паспорт.

Я забрала документ и ничего не ответила. Сил говорить уже не было. Убрала его в карман куртки и пошла к выходу. Через минуту позади остались белый свет эстонского КПП, ограждения и шлагбаумы, а сразу за ними начался город: фонари, припаркованные у обочины машины, тёмные окна домов.

Я остановилась и поняла, что нахожусь в другой стране. Не из-за пограничника, не из-за штампа в паспорте и даже не из-за незнакомых слов на вывесках. Из-за воздуха. Мне показалось, что он здесь другого состава, хотя пахло всё тем же снегом, выхлопом и холодной водой со стороны реки. Но в лёгкие он вошёл свободно. У меня дёрнулось горло, и только сейчас до меня по-настоящему дошло: получилось.

Я подняла лицо. Над крышами чернело небо, уже не затянутое привычной оранжевой пеленой питерских фонарей. Звёзд было немного, но те, что виднелись, казались резкими и колючими. После белого света КПП у меня защипало глаза, но я всё равно продолжала смотреть. Чуть дальше, у края небольшой площади, меня ждало обычное серое такси. Водитель опустил стекло.

— Анна Сергеева? — спросил он по-русски, без всякого акцента.

Я на секунду замешкалась, прежде чем вспомнила, что теперь это моё имя.

— Да, — ответила я.

Водитель разблокировал дверь и кивнул на заднее сиденье.

— Садитесь.

Я села, машина тронулась, и за окном поплыли тёмные, почти пустые улицы Нарвы. Про листок я вспомнила почти сразу. Достала его из внутреннего кармана рюкзака, развернула на колене и набрала на новом телефоне верхний номер. Два гудка.

— Алло, — произнёс женский голос. Обычный, домашний. Как будто я звонила узнать рецепт.

— Это Анна Сергеева, — сказала я. — Вам про меня Вика говорила. В мае.

Собственный голос показался мне чужим. Вслух этим именем я назвала себя впервые. Своего имени не произнесла. Владов запрет я помнила наизусть: в трубке — Анна. Зато имя Вики произносить было можно. Оно ничего не стоило и никого не выдавало. Я на него поставила, и ставка сыграла.

— Аня, — отозвалась женщина так, словно ждала этого звонка у самого аппарата. — Когда прилетаешь?

— Сегодня. Из Таллинна, в час дня.

— Значит, после обеда ты у меня. Долетишь — встань у

выхода и никуда не ходи. Я тебя сама найду.

— А как вы меня...

— Узнаю, — заверила Леся. — Ты, главное, поспи в самолёте. И поешь, если давать будут.

Когда она положила трубку, такси уже стояло у Нарвского вокзала. Водитель молча смотрел перед собой и ждал, пока я уберу телефон.

На следующие несколько месяцев, а может быть, даже лет, Лейлы Леонардовны больше не существовало. Была Анна Сергеева. Чужая фамилия, чужой паспорт, чужая страна.

Дальше было несколько пустых часов, которые я запомнила кусками. Нарвский вокзал — приземистое светлое здание с красной крышей, холодный зал ожидания, запах пыли и солярки с путей. Минут за десять до отправления поезд уже стоял у платформы. Внутри было почти пусто. До самого Таллинна я дремала, привалившись лбом к стеклу, и на каждой остановке открывала глаза на табличку с очередным чужим названием. Почти три часа.

Таллинн встретил меня мокрым снегом. От Балтийского вокзала я добралась до центра и там нашла автобус номер два. Что слово «Lennujaam» означает «аэропорт», Влад заставил меня запомнить заранее. Всё остальное я делала по его записке. В автобус села прежде всего потому, что внутри было тепло, а не потому, что знала маршрут.

В аэропорту меня снова накрыл страх. Сначала рамка и лента, потом мой рюкзак задержался после рентгена, и жен-

щина в форме отложила его в сторону. Она жестом попросила меня расстегнуть молнию. Пальцы не слушались, и с замком я провозилась дольше, чем следовало. Женщина раздвинула одежду и вытащила Игоряшин ошейник. Повертела его в руках, осмотрела металлическую пряжку. На секунду мне захотелось выхватить его у неё. Вместо этого я стояла и смотрела, как чужой человек держит одну из немногих вещей, которые у меня остались. Она положила ошейник обратно и махнула рукой — проходите. Я застегнула рюкзак, надела его и только тогда поняла, что всё это время почти не дышала. Никто не спросил, зачем я везу через пол-Европы старый собачий ошейник. Никто вообще не задал мне ни одного лишнего вопроса.

Я дошла до своего выхода на посадку, села в кресло у окна и просидела там полтора часа, глядя, как за стеклом между самолётами сновали машины, подвозили багаж и тянули заправочные шланги. Потом посадку объявили сначала по-эстонски, следом по-английски. Во второй раз я расслышала номер своего рейса и пошла.

Зайдя в самолёт, я заняла своё место у окна. Рядом устроился молчаливый мужчина с немецкой газетой, а у прохода — бабушка божий одуванчик, возраст которой я не бралась определить даже приблизительно. Ей могло быть как семьдесят, так и все сто. Маленькая, сухонькая, в очках на тонкой цепочке и с таким невозмутимым лицом, будто летала этим рейсом дважды в день последние полвека.

Когда погасло табло, я полезла воевать с креслом: никак не могла найти кнопку, чтобы откинуть спинку. Здравствуй-те, приехали. Двадцать пять лет, высшее образование, самостоятельная женщина — побеждена креслом экономкласса. Я облапала его с двух сторон, нашла какую-то заглушку, рычажок неизвестного назначения и чуть не выдернула столик. Кнопки не было. Сосед один раз покосился на меня поверх газеты, но вмешиваться не стал. Хороший человек. Видимо, решил, что естественный отбор должен идти своим чередом.

Через полчаса старушка, видимо, не выдержала и, не вставая, показала пальцем куда-то мне под подлокотник. Кнопка была там. Я нажала — спинка откинулась.

— Спасибо, — сказала я.

Бабушка кивнула. Сосед опустил газету и посмотрел на меня. Я посмотрела на него.

— Ни слова, — предупредила я по-английски.

Он улыбнулся и снова поднял газету. Вот и познакомились.

Последний раз я летала года два назад — мы с Жоркой мотались в Прагу на выходные. Я помнила аэропорт, помнила, как он купил в дюти-фри какую-то дрянь в красивой бутылке и потом доказывал мне, что это «чешская культура». Культура оказалась крепостью под сорок градусов и на вкус напоминала средство для снятия лака. Жорка выпил два стакана и полвечера любил Чехию и унитаз. Сам самолёт я не помнила вообще. Сейчас та поездка казалась чужой.

Как будто это была другая Лейла, у которой имелись деньги на выходные в Праге, собственный паспорт и проблемы нормального размера. Например, где поужинать. Хорошая была жизнь. Я её совершенно не ценила, дура.

Думала, что усну сразу же, как взлетим, но мне не спалось. Я сидела и пялилась в иллюминатор. Внизу лежал ровный серый слой облаков. Иногда он рвался, и тогда далеко внизу появлялась земля — квадратики полей, тонкие серые дороги, крошечные города и деревни. Польша, наверное. Или не Польша.

Бабушка у прохода тем временем уже спала, сложив руки на животе и чуть запрокинув голову. Вот кому кресло никаких моральных травм не нанесло. Сосед продолжал читать свою газету. Я ещё какое-то время пялилась в иллюминатор, а затем уснула. Минут на двадцать.

Проснувшись от боли в руке и первое мгновение машинально подумала, что мешает капельница. Потом вспомнила: капельницы больше нет. Потёрла запястье. Сосед снова посмотрел на меня поверх газеты и снова благоразумно решил не связываться. К этому моменту мы с ним уже прекрасно понимали друг друга. Я делаю странные вещи — он делает вид, что рядом никого нет. Идеальный попутчик.

Когда самолёт пошёл на снижение, земля постепенно стала приближаться и из квадратиков наконец превратилась во что-то человеческого размера. Появились дороги, отдельные дома, машины. Я пыталась понять, где начинается Вена, но

сверху она начиналась как-то неубедительно — поля, какие-то склады, развязки, крыши.

Я попробовала найти Дунай, но быстро осознала, что понятия не имею, что именно ищу. Голубому Дунаю я всё равно заранее не верила. За двадцать пять лет я усвоила одну важную вещь: если что-то специально называют голубым, оно обычно серое.

В Швехате было удивительно буднично. Я почему-то ждала ещё одного окошка, ещё одного человека, который возьмёт мой паспорт, посмотрит на фотографию, потом на меня и решит, имею ли я право идти дальше. Я даже морально подготовилась снова изображать Анну Сергееву — женщину-туристку, совершенно законно существующую на территории Европы. Но никто ничего у меня не спросил. Эстония и Австрия были внутри одной Шенгенской зоны, границу я уже прошла в Нарве. Здесь я просто шла вместе со всеми.

Вот это оказалось обиднее всего. Я много часов готовилась к тому, что меня остановят, так что теперь отсутствие человека, способного это сделать, почему-то пугало сильнее самого контроля. Я всё ждала окрика за спиной. Никто не окликал. Один мужик обогнал меня с чемоданом, впереди женщина ругалась с ребёнком, кто-то разговаривал по телефону. Европа категорически отказывалась замечать моё драматическое появление. Очень невоспитанно с её стороны.

До выхода я дошла медленно. Ноги после самолёта снова затекли, колени ныли, рюкзак неожиданно стал весить кило-

граммов двадцать, хотя ничего нового в нём не появилось.

Автоматические двери разъехались, и в лицо ударил февральский воздух. Здесь было около пяти градусов тепла. После Ивангорода — почти весна. Ещё немного — и можно доставать купальник. Если бы он у меня был. Впрочем, с моими нынешними рёбрами купальник представлял угрозу скорее окружающим. Ещё решат, что в Австрию завезли учебное пособие по анатомии.

Я остановилась у выхода и огляделась. Где-то здесь должна была быть Леся. Если, конечно, моя новая жизнь не решила начаться с того, что Леся перепутала аэропорт.

У выхода толпились встречающие. Мужики с табличками, женщины с цветами, дети, чемоданы, тележки. Кто-то уже нашёл своего человека и обнимался, кто-то вставал на носочки и высматривал в толпе, один мужик держал над головой табличку с такой длинной фамилией, что мне стало жалко и его, и человека, который должен был на неё откликнуться. А мне среди всего этого предстояло найти женщину, которую я никогда в жизни не видела вживую.

Лесю я знала по одной фотографии. Крошечный снимок, который Вика когда-то показывала мне в Москве. На нём Леся стояла на каком-то пляже, смеялась, волосы были чуть выше плеч. Всё. Очень полезные приметы для розыска человека в международном аэропорту спустя почти год. Волосы, как известно, у женщин вообще вещь постоянная. Один раз отрастила — и до пенсии ходишь.

Я отошла чуть в сторону, к стеклянной перегородке, чтобы никому не мешать, и почти сразу её увидела. Она стояла справа от выхода, возле колонны. Маленькая, рыжая, в простой синей куртке, без шапки, волосы собраны в хвост. В руке вместо нормальной таблички она держала кусок белой бумаги. На нём чёрным фломастером крупно было написано одно слово: «АНЯ». Не «Анна Сергеева». Не фамилия. Просто Аня.

Я несколько секунд смотрела на эту бумажку. Странное дело: чужое имя в паспорте раздражало меня с первого дня. А здесь оно вдруг выглядело почти нормальным. Наверное, потому что «Анна Сергеевна Сергеева» была человеком из документов, а Аня — человеком, которого кто-то приехал встречать.

Я пошла к ней, и Леся заметила меня почти сразу. Посмотрела в лицо один раз, внимательно, без долгого разглядывания, будто просто сверила с тем образом, который ей прислали — Викуся не пустоголовая и явно об этом позаботилась ещё в мае, по крайней мере, я очень на это надеялась — потом опустила бумажку, сунула её в карман, шагнула ко мне и обняла. Вот этого я не ожидала. Не осторожно коснулась плеча, не сказала дежурное «здравствуйте». Обняла нормально, обеими руками, как будто мы были знакомы лет десять и она действительно меня ждала. Леся пахла кофе и чем-то лёгким, цветочным. Сама маленькая, а руки крепкие. Впрочем, сейчас руки крепче моих были примерно у всего

взрослого населения Европы, включая бабушку из самолёта.

Я сначала просто стояла. Потом всё-таки подняла руки и обняла её в ответ. Леся не торопилась отпускать. У меня защипало глаза. Не на границе. Не в самолёте. А здесь, в аэропорту, на плече у совершенно незнакомой рыжей женщины, которая почему-то решила, что меня сначала нужно обнять, а всё остальное можно потом.

Она наконец отпустила меня и, чуть отстранившись, посмотрела прямо в лицо.

— Привет, — сказала тихо, по-русски. — Я Леся. Пойдём. Очень содержательно познакомились.

Вика дала мне её номер в мае, на балконе на Большой Тульской. Я даже толком не помнила, что она тогда про Лесю рассказывала. Что-то про Австрию, мужа, ребёнка. И, кажется, что-то ещё — то, из-за чего Вика и назвала именно её, а не десяток других подружек. Тогда я это пропустила мимо ушей, в полной уверенности, что запомню потом.

Леся вела меня через аэропорт, придерживая за локоть, а я послушно шла рядом, потому что в этом стерильном новом мире понятия не имела, куда идти. На улице она показала рукой:

— Машина вон там, синяя. Не торопись.

Машиной оказалась маленькая «Шкода». Обычная. Не новая и не старая — такой, на которой возят ребёнка, продукты и всякую дрянь, которая почему-то годами лежит в багажнике. Под лобовым стеклом висела маленькая иконка

Николая Чудотворца. Я задержала на ней взгляд.

Леся села за руль, я устроилась рядом. К этому моменту меня уже ощутимо шатало от усталости. Я не помнила, когда последний раз нормально ела, а чай, выпитый ещё по дороге от Питера к границе, организм, похоже, давно записал в исторические события.

— Под сиденьем термос. Достань.

Я нагнулась, нашла его. Чай оказался сладким, с лимоном. Я налила в пластиковый стаканчик и выпила половину ещё до того, как она выехала с парковки.

— Есть будешь?

— Нет.

— Значит, будешь.

Я медленно повернула к ней голову.

— Вы с Жориком случайно не родственники?

Леся впервые улыбнулась.

— Нет, не знаю такого. А что?

— Ничего. Манера общения одинаковая.

Она усмехнулась и тронулась с места, и за окном потянулись дороги, развязки, парковки, какие-то склады, гостиницы, заправки. Никаких дворцов. Никакого Моцарта. Ни одной лошади. Я почему-то представляла Австрию совсем иначе — как Зальцбург с открытки: шпили, старые дома, шоколад и прилично одетые люди, которые с утра уже куда-то идут слушать классическую музыку.

Леся вела машину спокойно, не спешила и не лезла с раз-

говорами. Не поинтересовалась, почему женщина, которую она никогда не видела, прилетела к ней под чужим именем и с одним рюкзаком. Она вообще держалась так, будто в её списке дел на сегодня всё именно так и значилось: подцепить в Швехате нелегальную Лейлу, заехать в магазин, забрать ребёнка.

Я чуть не усмехнулась вслух. Всё-таки мозг был жив. Уже хорошо.

Постепенно городская застройка стала редеть. За окном появились открытые поля, невысокие холмы, голые ряды виноградников. Время от времени попадались небольшие населённые пункты — светлые дома, хозяйственные постройки, церковные шпили. Никакой открыточной Австрии. Здесь просто жили люди. Топили дома, ездили за продуктами, выращивали виноград и, судя по одной совершенно выдающейся навозной куче возле дороги, занимались сельским хозяйством без малейшего уважения к моим туристическим ожиданиям.

— Я не в самой Вене живу, — сказала Леся. — Хоэнрупперсдорф. Это в Вайнфиртеле. До Вены километров сорок. У нас с мужем старый дом, ещё от его деда.

— Это даже лучше, — искренне ответила я. После границы, вокзалов и аэропортов дом в сорока километрах от Вены казался мне не глушью, а укрытием.

Леся на секунду повернула ко мне голову, потом снова посмотрела на дорогу и медленно кивнула. По тому, как она

это сделала, я поняла: она слышала не только слова, но и всё, что за ними стояло.

Хоэнрупперсдорф оказался не деревней из трёх домов, как я почему-то успела себе представить. Нормальный маленький австрийский посёлок: улицы, дома, церковь, школа, какие-то вывески, хозяйства. Только всё вокруг было каким-то собранным. Даже голые февральские виноградники уходили по склонам ровными рядами, будто их кто-то утром причесал.

Дом Леси стоял ближе к краю посёлка — двухэтажный, старый, под покатой крышей, с небольшим двором. В окнах горел тёплый жёлтый свет. У ворот стоял маленький мальчик в зелёной куртке и ярко-оранжевой шапке. Руки почему-то держал за спиной и смотрел на приближающуюся машину с такой серьёзностью, будто лично отвечал за въезд иностранцев в Хоэнрупперсдорф.

Когда мы подъехали, он сорвался с места, распахнул ворота и вцепился обеими руками в створку, пропуская машину во двор. Леся кивнула в его сторону.

— Это Артём, — представила она с улыбкой. — Он у меня хозяин. Я к этому ещё привыкаю.

Я посмотрела на маленького хозяина в оранжевой шапке. Ну что ж. Одну границу за последние сутки я уже прошла. Посмотрим, пропустят ли меня через эту.

Артём обошёл машину и открыл дверь с моей стороны.

— Здравствуй, — серьёзно произнёс он. — Тебя зовут тё-

тя Аня.

Не спросил — сообщил. Так дети обычно и делают: объясняют тебе, кто ты такой, и дальше живи с этим как хочешь.

— Да, — согласилась я после короткой паузы. — Видимо, так.

Он удовлетворённо кивнул.

— Я тебе свою комнату отдал. Эту неделю я с мамой сплю. У меня кровать большая, тебе там будет хорошо.

— Всю комнату? — уточнила я.

— Всю, — подтвердил Артём.

— Серьёзная жертва, — признала я.

Он задумался.

— На неделю.

— А. Тогда ладно.

Леся фыркнула за рулём.

Я выбралась из машины. Артём тут же протянул мне руку, будто после разговора о комнате все формальности между нами были улажены, и я машинально дала ему свою. Ладонь у него была маленькая и горячая.

— Ты с ним по-русски? — спросила я у Леси.

Она тоже вышла из машины и захлопнула дверь.

— Всегда, — ответила Леся. — Со Стасом он по-немецки, со мной по-русски. Между собой мы как придётся.

— Удобно, — заметила я.

— Особенно когда ругаемся, — добавила она совершенно серьёзно. — Можно выбрать язык, на котором обиднее.

Впервые за долгое время мне захотелось улыбнуться. Само лицо на это пока не согласилось.

— А почему со Стасом по-немецки? — поинтересовалась я. — Он же по-русски говорит.

— Стас тут родился, у него мать русская, отец австриец, — объяснила Леся. — По-русски он говорит лучше меня, но с Артёмом принципиально по-немецки: считает, что мальчику нужен язык страны, в которой он живёт. Когда мы его взяли, ему два с половиной было. Первые три месяца вообще не говорил. Ни на каком языке. Я уже с ума сходила. А потом его прорвало. Сначала по-русски, потом немецкий подтянул. Теперь иногда начинает фразу на одном языке, заканчивает на другом и искренне не понимает, почему остальные тупят.

Фраза «когда мы его взяли» зацепилась у меня в голове. Леся произнесла её тем же спокойным тоном, что и всё остальное, — без паузы, словно она не нуждалась в отдельном объяснении. Мне кажется, что Викуся не говорила, что у Леси приёмный сын. А может, говорила. Последнее время в мою голову столько всего пытались запихнуть, что часть информации закономерно погибла при транспортировке. Я не стала ничего спрашивать, только вдруг особенно ясно почувствовала маленькую горячую ладонь в своей.

— Мам, я всё понимаю, — сообщил Артём.

— Вот видишь? — Леся посмотрела на сына. — Ещё и подслушивает на двух языках.

— Я не подслушиваю, — возразил он.

— Конечно, — легко согласилась Леся.

Артём потянул меня за руку.

— Пойдём. Я тебе покажу.

И повёл в дом.

Тепло ударило сразу, ещё в прихожей. Не гостиничное, не больничное — обычное домашнее тепло, в котором кто-то живёт. На полу лежали старые ковры с потёртыми дорожками, у стены стояла большая обувница, забитая ботинками, кроссовками и одной парой ярко-жёлтых детских резиновых сапог. На крючках висели куртки. На батарее сохли две варежки, причём разные. Из глубины дома пахло едой. Я остановилась. На стене возле двери висела фотография: Леся, мужчина, Артём — все трое где-то на празднике, все смеются. Над фотографией маленькая тёмная иконка, похожая на ту, что висела у Леси в машине.

Из кухни появился мужчина. Высокий, плотный, лет сорока, короткая светло-русая борода, серые глаза. На нём был фартук, и он вытирал об него руки, глядя на меня без того осторожного выражения, которое я последние недели видела почти на каждом лице. Не как на больную. Не как на человека, рядом с которым надо правильно подобрать слова. Просто на гостью, которую жена привезла домой.

— Привет, — сказал он по-русски без акцента. — Стас. Лесин муж.

— Аня.

Имя вышло почти без запинки. Уже прогресс. Ещё немно-

го — начну отзываться.

Стас посмотрел прямо на меня.

— Ты вообще держишься?

— Стою же.

— Лесь.

— Держится. В самолёте не ела, после самолёта не ела, у меня выпила полтермоса чая.

Я посмотрела на неё.

— А откуда ты знаешь, что я в самолёте не ела?

— По тебе видно.

Прекрасно. Значит, вид у меня теперь был не просто хреновый, а диагностический. Стас кивнул в сторону кухни.

— Тогда вовремя. Борщ готов.

И вот тут мой организм, который последние двое суток изображал из себя возвышенное существо, существующее исключительно на горе и мести, предал меня окончательно. Пахло борщом. Настоящим. Свёклой, мясом, чесноком. Ещё чем-то печёным. Я вдруг почувствовала, как во рту собралась слюна.

Жорик тоже иногда варил борщ. Ужасный. Он почему-то считал, что борщ — это щи, к которым добавили свёклу, и все мои попытки объяснить разницу воспринимал как личное оскорбление его медицинского образования.

«Я анестезиолог, мартышка. Пока хирурги людей режут, я отвечаю за то, чтобы они это пережили. Уж борщ как-нибудь сварю».

— Стас, можно я сначала умоюсь? — попросила я.

— Господи, конечно, — спохватился он. — Леся, покажешь?

— Пойдём, — отозвалась она.

Артём отпустил мою руку только у лестницы. Сам уселся на нижнюю ступеньку и проводил меня взглядом. Вид у него был такой, будто предварительный досмотр я прошла, но окончательного решения пограничная служба ещё не приняла.

Леся повела меня наверх.

Комната оказалась маленькой, под самой крышей. Два окна, кровать у стены, лоскутное одеяло, письменный стол. На стене висела большая карта мира, утыканная цветными булавками.

— Это всё Артём? — спросила я, кивнув на карту.

— Ага, — подтвердила Леся. — Где хочет побывать.

Я подошла ближе.

— Он хочет побывать везде.

— Я тоже это заметила, — усмехнулась она.

На двух полках стояли книги вперемешку — немецкие и русские. Я пробежала взглядом по корешкам и увидела «Незнайку». Села на край кровати. Матрас мягко прогнулся. Ноги сразу сказали спасибо и предложили больше никогда не вставать.

Леся осталась у двери.

— Лей, то есть... Ань, — поправилась она.

Я подняла голову.

— Ты никуда не спеши, хорошо? Живи здесь столько, сколько надо. Я знаю, у тебя... в общем, сначала отоспишься, отъешься и на человека станешь похожа. А там...

— А сейчас? — перебила я.

Она внимательно меня оглядела.

— Сейчас тоже похожа, но с большой натяжкой.

— Спасибо.

— Я старалась сформулировать деликатно, — призналась Леся.

— Получилось потрясающе, — заверила я.

Уголок её рта дёрнулся, но почти сразу лицо снова стало серьёзным.

— И ещё, — продолжила она. — Я тебя ни о чём спрашивать не буду. Вообще. Захочешь — сама расскажешь. Не захочешь — значит, не расскажешь. Вика попросила тебя принять и позаботиться. Мне этого достаточно.

Я кивнула. Леся уже взялась за ручку двери, но не вышла. Постояла немного.

— Просто я хочу, чтобы ты одну вещь знала.

Что-то в её голосе изменилось. Совсем чуть-чуть. Я сразу перестала улыбаться.

— У меня была дочь, — сказала Леся тихо. — Ей было три года, когда её не стало. Лейкемия. Мы и сюда из-за неё приехали когда-то. Лечить.

Она говорила спокойно. Не тем спокойствием, когда че-

ловеку всё равно. Тем, которое появляется, когда одну и ту же боль носишь столько лет, что уже знаешь, с какой стороны её брать, чтобы не порезаться.

— Не помогло? — спросила я.

Леся покачала головой.

— Нет.

Я опустила глаза на свои руки. Несколько секунд мы молчали.

— Я не рассказываю тебе это, чтобы сказать, что понимаю тебя, — продолжила Леся. — Я не понимаю. У каждого своё. Просто... я знаю, что иногда человеку не нужны вопросы. И не нужно, чтобы ему объясняли, как жить дальше.

Вот теперь я посмотрела на неё.

— Артёма мы взяли через два года, — продолжила она. — И нет, он не заменил мне её. Никто никого не заменяет. Он мой сын. Она моя дочь. Вот и всё.

Леся произнесла это просто. Без «жизнь продолжается». Без «время лечит». Без той херни, которую люди говорят, когда вроде хотят помочь, но не хотят долго разбираться, как это сделать.

— И ты живёшь... — произнесла я.

Леся немного помолчала.

— Живу.

Я не знала, почему именно это мне понадобилось услышать. Может быть, потому, что последние недели вокруг меня все очень старались доказать, что я тоже буду жить. Вра-

чи, Жорик, Влад, Даня. Они говорили про восстановление, про время, про еду, про сон. А передо мной впервые стоял человек, у которого уже забрали ребёнка. И она жила. Не «справилась». Не «отпустила». Не «начала новую жизнь». Просто жила.

— Спасибо, — тихо сказала я.

— Не за что. Иди умойся. Потом вниз. Стас обидится, если борщ остынет. У него очень ранимая кулинарная душа.

Снизу донеслось:

— Я всё слышу!

Леся повысила голос:

— Вот и отлично!

Я выдохнула через нос — почти смешок, но ещё не смех. Леся посмотрела на меня и, ничего больше не сказав, вышла.

В ванной я закрыла дверь и некоторое время просто стояла, опираясь ладонями о раковину. Потом открыла воду. Умыла лицо и шею, вымыла руки. Вода была тёплой. Обычная вода. Обычная ванная. На краю раковины стоял стакан с тремя зубными щётками, на крючке висело полотенце с каким-то мультяшным крокодилом. На стиральной машине лежал один детский носок.

Я подняла глаза к зеркалу — и впервые увидела то, что Жорик и врачи видели уже несколько недель. Впалые щёки. Круги под глазами. Ключицы, которых у меня раньше видно не было. Чужая худоба, надетая на моё лицо. Я смотрела на себя довольно долго и в какой-то момент поняла, что не

жалею себя, а просто оцениваю: с этим ещё можно работать. После чего вытерла лицо и спустилась вниз.

На кухне меня уже ждали. Стол был накрыт на четверых — не для гостии, не специально для меня, а просто на четверых. Перед каждым стояла глубокая тарелка, посередине — сметана в маленькой пиале, пампушки, нарезанный чёрный хлеб и чеснок на блюдечке. От кастрюли поднимался пар, окно возле стола слегка запотело. Стас стоял у плиты и разливал борщ, а Артём уже сидел на своём месте с ложкой в руке и следил за процессом так внимательно, будто от правильного распределения борща зависело благополучие семьи. Леся показала мне стул рядом с Артёмом. Я села. Мальчик тут же подвинул ко мне солонку.

— Вот.

— Спасибо, — сказала я.

— Я люблю солёное, — объяснил он. — Можешь брать сколько надо.

Я посмотрела на солонку. Потом на него.

— А если мне не надо?

Артём нахмурился, такого развития событий он явно не предусмотрел.

— Всё равно пусть стоит.

— Разумно, — согласилась я.

Он кивнул и придвинул солонку ещё на два сантиметра, чтобы уж наверняка. И я улыбнулась. Не подумала, не заставила себя — просто улыбнулась. Где-то глубоко, под всем

тем, что навалилось за последние месяцы, прежняя я приподняла голову и удивлённо сказала: надо же. Пять месяцев врачи и аппараты не давали моему телу сдаться, а Жорик с Владом каждый день сгибали и разгибали мне руки и ноги, сажали, ставили на ноги, водили по коридору — учили тело жить без моего участия. После пробуждения я пыталась его догнать: заново училась сидеть, ходить и держать ложку. И после всего этого первая настоящая улыбка досталась солонке в руках шестилетнего мальчугана, который решил, что без неё я за столом никак не обойдусь. Жизнь вообще, как выясняется, специалист по идиотским деталям.

— Спасибо, Артём, — сказала я, хотя благодарила его уже не за солонку.

— Пожалуйста, — отозвался он.

Ребёнок удовлетворённо взялся за ложку, и я тоже.

Первую ложку проглотила осторожно. Потом вторую. Борщ оказался именно таким, как надо: горячим, густым, со свёклой, мясом и нормальной человеческой зажаркой. А не Жорикиными щами, покрашенными свёклой в целях конспирации.

Я ела и чувствовала, как тепло медленно спускается где-то внутри. Организм заинтересовался. После третьей ложки он, видимо, вспомнил, что вообще-то существует еда, и потребовал продолжения.

Разговор за столом шёл в основном без моего участия. И это оказалось таким милосердием, о котором я сама не до-

гадалась бы попросить. Мне не нужно было поддерживать беседу и изображать человека. Можно было просто сидеть, есть борщ и слушать чужую нормальную жизнь.

— Аня, ты соль бери, — напомнил Артём.

Я подняла глаза.

— Я помню, — заверила я.

— Ты не берёшь.

— Я пока морально готовлюсь.

Он посмотрел на меня с подозрением.

— К соли? — переспросил мальчик.

— У меня сложные отношения с обязательствами.

Артём явно не понял, но на всякий случай кивнул.

— Мама мало кладёт, — объяснил он.

— Мама кладёт нормально, — отозвалась Леся, не поднимая глаз от тарелки.

— Мало, — упрямо повторил Артём и повернулся к Стасу. — Скажи.

Стас замер с пампушкой возле рта.

— Я в этом доме по вопросам соли не эксперт, — осторожно произнёс он.

— Потому что трус, — сказала Леся.

— Потому что хочу дожить до завтра, — поправил её Стас.

— Ты по борщу эксперт, — напомнил Артём.

— По борщу — да, — согласился тот.

Леся фыркнула, а Стас медленно положил пампушку об-

ратно на тарелку.

— Вот сейчас было обидно, — сообщил он.

— Правда глаза режет, — невозмутимо отозвалась Леся.

— Я три часа готовил, — возмутился Стас.

— Два, — поправила она.

— Три. Я морально готовился ещё час.

Я опустила голову к тарелке, потому что снова улыбалась. Они спорили о какой-то ерунде — о соли, о том, сколько часов Стас имел право записать себе в трудовой стаж за один борщ. Артём периодически вмешивался и каждый раз становился на сторону того, кто в данный момент казался ему убедительнее. Обычный семейный ужин.

Наверное, раньше я даже не заметила бы ничего особенного. У людей есть кухня, стол, тарелки, ребёнок, который командует солонкой, муж с женой, способные устроить семейный конфликт из-за солёности борща. Великая редкость. А теперь я сидела и слушала. Их голоса не давили. Мне не хотелось, чтобы все замолчали. Наоборот. Пусть говорят. Про соль. Про борщ. Про что угодно.

Я доела почти всю тарелку. Стас это заметил, но, умный человек, ничего не сказал. Только потянулся к кастрюле.

— Нет, — сразу предупредила я.

— Я ничего, — невинно отозвался он.

— У тебя половник в руке.

— Совпадение.

— Стас.

— Ладно, — сдался он.

Артём посмотрел на мою тарелку.

— Ты мало ешь, — заключил он.

— Вы сегодня все сговорились? — спросила я.

— Кто? — не понял ребёнок.

— Неважно, — сдалась я.

Он немного подумал и снова подвинул мне солонку. Видимо, соль должна была решить любую проблему.

Дальше вечер у меня распался на отдельные фрагменты. Помню чашку чая. Помню, как Стас убирал со стола, а Леся что-то ему рассказывала вполголоса. Помню Артёма, который притащил мне показать пластмассового динозавра и минут пять объяснял, почему это не тираннозавр, хотя для меня слово «динозавр» уже было достаточно точным определением этого существа. Потом я моргнула и поняла, что пропустила половину его лекции.

— Ты спишь, — сообщил Артём.

— Нет.

— У тебя глаза закрыты.

Я открыла глаза.

— Теперь нет.

Он посмотрел на меня с тем выражением, с каким смотрят на человека, который совсем уж заврался. Леся встала.

— Всё. Пойдём.

— Я сама.

— Конечно.

Я поднялась из-за стола и тут же ухватила за его край. Леся ничего не сказала. Просто взяла меня под локоть.

— Я сама, — повторила я уже менее убедительно.

— Я вижу.

Наверх мы поднимались медленно. На середине лестницы я поняла, что Артём идёт следом.

— Ты куда?

— Проверю, как ты легла.

Я посмотрела на Лесю.

— Он всегда такой?

— Нет. Иногда хуже.

— Мам.

— Что?

На площадке Артём всё-таки остановился.

— Спокойной ночи, тётя Аня.

— Спокойной ночи, хозяин.

Он улыбнулся и убежал вниз.

До кровати я дошла сама. Это было последнее достижение дня. Села, собираясь снять свитер, и, кажется, на этом организм официально прекратил сотрудничество. Дальше осталось несколько обрывков. Леся стягивает с меня тапочки. Я зачем-то говорю, что могу сама. Она отвечает: «Конечно, можешь» — и снимает второй. Потом помогает мне выбраться из одежды, укладывает и накрывает старым лоскутным одеялом. Оно тяжёлое, тёплое и пахнет домом, в котором много лет спал ребёнок: стиральным порошком, шкафом, чем-

то совсем слабым и сладким.

— Спи, — тихо произнесла Леся.

Я хотела ответить, но не успела.

Я была почти на середине моста через Нарову. Ночь. Скользко. Тонкий лёд под ногами и чёрная вода где-то внизу. Я знала, что впереди Эстония, хотя там ничего не было видно. Только темнота и белые фонари. Сзади меня кто-то позвал.

— Лейла .

Я остановилась и обернулась. На российской стороне стояли люди.

Сначала я увидела маму. Рядом стоял папа. Потом Агафья и Августа. Игорь. Вера и Надя. Они стояли все вместе.

Мама махнула мне рукой. Я посмотрела на неё. Потом на девочек. Они тоже махали. Обе. Вера одной рукой, Надя двумя, как маленькие дети машут поезду. Я хотела пойти к ним. Даже сделала шаг. И услышала за спиной:

— Не туда .

Голос был тихий. Мужской. Я остановилась.

За родными стоял кто-то ещё, чуть дальше, там, куда почти не доходил свет. Я не могла разглядеть лица. Только фигуру. Он не махал. Не звал меня. Просто смотрел. Я испугалась... Посмотрела на девочек. Хотела закричать, предупредить...

Я проснулась среди ночи и не сразу поняла, где нахожусь. В комнате было темно, только на карте мира над столом ле-

жали синеватые полосы света от фонаря за окном. Лоскутное одеяло каким-то образом оказалось на полу, хотя мне всё равно было тепло. Я лежала, не двигаясь, и слушала чужой дом. Где-то внизу негромко тикали часы. Потом скрипнула половица. Что-то тихо щёлкнуло в трубах.

Тишина здесь была совсем не такая, как в Склифе. Там она никогда не была настоящей: пищали аппараты, хлопали двери, кто-нибудь обязательно шёл по коридору в резиновых тапках, катил тележку или очень старательно пытался не шуметь и именно поэтому шумел на весь этаж. Здесь просто спал дом. Люди в нём спали, ребёнок спал, за стенами была чужая австрийская ночь, а я каким-то чудом лежала посреди всего этого. Ну вот, подумала я. Доехала. На сегодня подвигов достаточно. Закрыв глаза, я снова уснула.

У Леси я прожила две с половиной недели. Первые несколько дней я практически не выходила из дома. Мой распорядок поражал разнообразием: спала, ела, снова спала, иногда для смены деятельности лежала. Леся варила борщ из расчёта «одна кастрюля на три дня». Я опустошала её за два, после чего Леся смотрела на пустую кастрюлю, на меня и снова ставила вариться. К концу недели мы обе признали очевидное: рассчитывать борщ как раньше в моём присутствии бессмысленно.

Иногда готовил Стас. Его борщ отличался от Лесиного — меньше моркови, больше укропа, немного другой вкус бульона. И однажды я поймала себя на том, что это заметила.

Просто заметила. Не потому что заставила себя есть, не потому что кто-то следил, сколько ложек я проглотила. Мне стало вкусно.

Наверное, вкус вернулся первым. За ним — голод. К концу недели выяснилось, что я способна спать по четырнадцать часов и поглощать борщ в промышленных объёмах. В двадцать пять лет наконец обнаружились настоящие таланты. Мама бы гордилась.

Артём за эти дни меня окончательно признал и, судя по всему, присвоил. По утрам он заходил в комнату и оставлял на тумбочке какую-нибудь ценность. Шишку. Камень. Красивый фантик. Один раз — жёлтую крышечку от бутылки, которая, видимо, представляла особую коллекционную редкость. Ничего не объяснял. Крал и уходил. Первый раз я решила, что он забыл. На второй — что оставил это случайно. На третий поняла: нет. Это мне.

Я стала отвечать. Из камешков складывала на подоконнике маленькие пирамиды. Шишку посадила сверху, как ёлку. Крышечку положила рядом — назначение у неё всё равно было неизвестное, а так хотя бы выглядело концептуально. Артём приходил утром, внимательно изучал изменения и ничего не говорил. Очень удобные у нас были отношения.

На четвёртый день он принёс очередной камень — плоский, серый, с белой прожилкой — положил на тумбочку, но впервые не ушёл. Подошёл к окну и долго рассматривал мою пирамиду.

— Ты неправильно кладёшь.

— Доброе утро.

— Доброе. Неправильно.

Я приподнялась на локте.

— Что именно оскорбляет твоё чувство прекрасного?

Он ткнул пальцем в нижний камень.

— Этот маленький. Снизу должен быть самый тяжёлый.

— А если они все одинаковые?

Артём задумался. Вопрос оказался серьёзным.

— Тогда самый широкий.

— Почему?

Он посмотрел на меня так, будто я уже начинала утомлять его своей необразованностью.

— Потому что широкий — как взрослый. Он держит остальных. Если снизу слабый, всё упадёт.

— А-а.

Я посмотрела на пирамиду.

— Логично.

Артём сам разобрал мою конструкцию, выбрал самый широкий камень, положил вниз и заново выстроил остальные. Подтолкнул пальцем. Пирамида устояла.

— Вот.

— Теперь можно жить спокойно?

— Можно.

Он ушёл завтракать, а я осталась у окна. Самый широкий — как взрослый. Держит остальных. Ребёнок за тридцать се-

кунд изложил мне устройство мира, про которое умные люди пишут книги страниц на четыреста.

Я потрогала нижний камень пальцем и заплакала непонятно от чего. Сидела перед дурацкой пирамидой из четырёх камней и ревела, потому что широкий должен стоять снизу и держать остальных. Высморкалась, посмотрела на своё отражение в окне и сказала:

— Прекрасно. Теперь меня доводит до истерики строительная консультация шестилетнего мальчугана. Восстановление идёт по плану.

Стало чуть легче.

Леся всю первую неделю почти не лезла ко мне. Это оказалось одним из лучших её качеств. Она могла войти, поставить чай, спросить: «Живая?» — услышать «пока да» и уйти. Не садилась рядом с выражением человека, который сейчас будет спасать мою душу. Не спрашивала, о чём я думаю. Не проверяла каждые пять минут, не стало ли мне внезапно хорошо или плохо.

Я в её доме восстанавливалась. Именно это слово однажды само пришло мне в голову. Не выздоравливала. Выздоровливают после гриппа, воспаления лёгких, операции. После чего через какое-то время снова становишься тем же человеком, которым был. Мне обратно было некуда. Я восстанавливалась. Заново, из того, что осталось.

Однажды вечером мы с Лесей засиделись на кухне после того, как Стас уложил Артёма. Она вязала что-то серое и бес-

форменное. То ли шарф, то ли носок для очень крупного осьминога. Я не спрашивала. После истории с креслом в самолёте я вообще стала осторожнее относиться к предметам, назначения которых не понимаю.

Я пила чай. Леся вязала. Спицы тихо постукивали друг о друга. На кухне горела только лампа над столом, а в чёрном оконном стекле отражались мы обе. Молчали мы минут десять. Потом Леся, не поднимая глаз от спиц, сказала:

— Алина тоже морковь в борще не любила.

Я замерла с чашкой у губ. Леся продолжала вязать.

— Стас поэтому мало кладёт. По привычке. Её уже давно нет, а он всё равно мало кладёт.

Я поставила чашку. Не знала, что отвечать. А потом поняла, что ответа и не требуется. Леся впервые при мне произнесла имя дочери не потому, что объясняла мне свою историю. Просто вспомнила. Между чаем и каким-то бесформенным серым вязанием. Вот так, оказывается, мёртвые и остаются дома. Не фотографиями на стене, а морковью в борще. Я посмотрела на Лесю. Она всё ещё не поднимала глаз.

— Жорик отвратительно варит борщ, — сказала я.

Спицы остановились.

— Это ты сейчас к чему?

— Не знаю. Захотелось тоже поделиться семейной трагедией.

Леся фыркнула.

— Настолько плохо?

— Он считает борщ щами со свёклой.

Она подняла на меня глаза.

— Господи.

— Вот. Спасибо. Хоть один человек понимает масштаб бедствия.

И мы обе засмеялись. Тихо. Чтобы не разбудить Артёма. Наверное, именно тогда я окончательно поняла, почему Вика дала мне номер Леси. Рядом с такими людьми ты не лечишься, нет... ты оттаиваешь.

На второй неделе я начала выходить из дома. Сначала Леся вручила мне две старые палки для ходьбы.

— Это ещё зачем?

— Чтобы не навернулась.

— Очень обнадёживающее начало прогулки.

— Могу дать одну.

— А со второй половиной тела что делать?

— Вот поэтому две.

Спорить с ней было бесполезно. Я это уже поняла.

За домами начинались поля и виноградники. В конце февраля они выглядели совершенно не так, как на картинках с бутылок вина: тёмные голые лозы стояли ровными рядами, земля между ними была мокрой и местами подмёрзшей, в низинах ещё держались грязноватые островки снега. Ветер гулял по открытым полям как у себя дома и сразу находил все щели в куртке.

В первый раз я дошла до конца улицы и обратно. Двадцать минут. Вернулась так, будто только что покорила Эверест без кислорода и шерпов. Стас ничего не сказал, только поставил передо мной чай. Артём спросил:

— Далеко ходила?

— Очень.

— До магазина?

— Почти.

Магазин находился дальше. Маленький мерзавец это прекрасно знал.

Через два дня я ходила уже по полчаса. Потом сорок минут. Потом час. Я выбирала одну и ту же дорогу между виноградниками и шла, пока ноги не начинали мелко дрожать, а дыхание не становилось слишком частым. Тогда разворачивалась.

Первое время меня это бесило. Тело, которое раньше спокойно таскало меня по Петербургу целый день, теперь вело себя как капризная пенсионерка: пять минут идём, потом отдыхаем, потом, может быть, ещё подумаем.

— Давай, бабушка, — бормотала я сама себе. — До столба и обратно. Пенсию выдадут дома.

Палки стучали по твёрдой земле. Шаг. Вдох. Ещё шаг. Выдох. Постепенно я начала замечать всё остальное. Холодный ветер. Запах мокрой земли. Голые лозы. Чёрных птиц, которые ходили между рядами и что-то там деловито искали. Дым из трубы далёкого дома. Церковный шпиль над крыша-

ми, который откуда ни иди, всё равно торчал впереди.

Мир был удивительно занят собой. Ему было совершенно плевать, кто я, кого потеряла и зачем приехала в Австрию. И это тоже почему-то помогало. Во время этих прогулок в голове становилось тихо. Я не думала про Жорика. Не думала про Влада, Даню, девочек, Игоря с Августой. Даже про список почти не думала. Следила за дыханием.

Потому что дышалка после всего, через что протащили моё тело, была никакая. Стоило немного ускориться — сердце начинало дубасить, будто я бегу марафон, хотя со стороны наверняка выглядела как старушка, которая очень целеустремлённо идёт за хлебом. Поэтому я считала шаги. Двадцать — вдох ровный. Ещё двадцать. Не торопиться. Не злиться, если приходится остановиться. Потом снова идти.

Наверное, умные люди назвали бы это медитацией, восстановительной практикой или ещё какой-нибудь хренью, за которую в специальном центре берут много денег. Я называла это проще. Ходить. И каждый день у меня получалось чуть дальше.

В четверг Леся объявила, что мы едем в Гензерндорф. В банк.

Про то, что мне нужно открыть счёт, я упомянула вскользь пару дней назад, но разговор тогда перепрыгнул на другую тему, и я посчитала, что вернусь к этому разговору как-нибудь потом. Но Леся, получается, услышала и взяла на заметку, а Стас всё подготовил заранее. Он договорился

с конкретным человеком в отделении, отправил туда копию паспорта и справку о том, что Анна Сергеева проживает по их адресу в Хоэнрупперсдорфе.

В банке было тихо, чисто и пахло кофе — по-моему, в Австрии запах кофе был даже в аптеке. Молодой клерк за стойкой долго и вежливо изучал паспорт, потом меня. Я стояла спокойно. За собой я уже знала эту новую особенность: чем меньше я волнуюсь, тем ровнее стою.

Через сорок минут у Анны Сергеевой был счёт в австрийском банке, договор в фирменной папке и обещание прислать карту по почте. Расписалась я чужой фамилией уже почти не задумываясь. Вот к чему, оказывается, привыкаешь быстрее всего. Не к чужой стране — к чужой подписи.

Деньги пришли через несколько дней, двумя переводами. Данины — те, что конвертами остались у Влада. Я позвонила сказать, что дошло.

— Хорошо, — сказал Влад. — Трать. Это не подарок, это твоё. Даня так и велел передать.

— Влад.

— Что.

— Спасибо.

— Есть не забывай, — сказал он и положил трубку. В переводе с владовского это означало «пожалуйста».

Дане я позвонила ближе к концу второй недели с телефона, который мне дал в дорогу Влад. Это был дешёвый аппарат с чистой симкой — и пользоваться им без необходимо-

сти мне было не велено.

Я ушла в сад за домом, под старую яблоню, подальше от окон. Ветки были голые, чёрные, под ногами влажная прошлогодняя трава. Я набрала номер. Гудок. Ещё один. Потом его голос — настороженный, совсем чужой оттого, что номер был незнакомый:

— Алло?

Я открыла рот. И ничего. Стояла под яблоней и дышала в трубку, как телефонный маньяк начального уровня. На том конце стало тихо. Потом он очень тихо сказал:

— Лейла.

Не спросил — узнал. Я закрыла глаза.

— Это ты, — выдохнул он. — Господи... Лей. Ты добралась.

И всё. Голос сломался. Я слушала, как взрослый мужик пытается не плакать и совершенно с этим не справляется. Дания умел держать лицо, но, видимо, после пяти месяцев больниц лимит самообладания у него закончился.

— Дань...

— Подожди. Не говори ничего. Подожди секунду.

Я ждала. Он высморкался куда-то в сторону, выругался и вернулся.

— Всё. Я нормально.

— Слышу.

— Не издевайся.

— Даже не начинала.

Он засмеялся сквозь нос, и у меня впервые за весь разговор немного отпустило в груди.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.